

Антон Чехов
ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно странная, двойная фамилия — Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком. Не спали. Иван Иваныч, высокий, худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и не глупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет всё сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

— Что же тут удивительного! — сказал Буркин. — Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, — кто знает? Я не естественник и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищурился и подняв палец, произносил: — Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определено; запрещено — и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда эле-

мент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: — Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели класную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и всё говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, — ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, — и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице, — знаете, маленьком лице, как у хорька, — он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение — ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит и как будто что-то высматривает. Посидит, этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ всё мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрина, однако же этот человек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять — пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте...

Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

— Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть.

— Беликов жил в том же доме, где и я, — продолжал Буркин, — в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и — ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле, — пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же, с глубоким вздохом:

— Много уж их нынче развелось!

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжело.

— Очень уж шумят у нас в классах, — говорил он, как бы стараясь отыскать объяснения своему тяжелому чувству. — Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в фуляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал:

— Шутите!

— Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, — одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, всё поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и залетится голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченься, хохочет, поет, пляшет... Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала, — всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

— Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто — ужас!»

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

— А хорошо бы их поженить, — тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

— Ему давно уже за сорок, а ей тридцать... — пояснила свою мысль директорша. — Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым?

Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим — в ее ложе сидит Варенька с таким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

— Да ты же, Михайлик, этого не читал! — спорит она громко. — Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

— А я тебе говорю, что читал! — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.

— Ах же, боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердисься, ведь у нас же разговор принципиальный.

— А я тебе говорю, что я читал! — кричит еще громче Коваленко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание; тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:

— Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все — и товарищи, и дамы — стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была недурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно, — голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

— Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик, — проговорил Иван Иваныч.

— Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и всё ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

— Варвара Саввишна мне нравится, — говорил он мне со слабой кривой улыбочкой, — и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но... всё это, знаете ли, произошло как-то вдруг... Надо подумать.

— Что же тут думать? — говорю ему. — Женитесь, вот и всё.

— Нет, женитьба — шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность... чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, всё откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; всё взвешивал предстоящие обязанности и ответственность, и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalischeSkandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

— Не понимаю, — говорил он нам, пожимая плечами, — не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чиновники, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислотой воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопае.

Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким писклявым голосом, и спрашивал меня, разводя руками:

— Шо он у меня сидит? Шо ему надо? Сидит и смотреть.

Он даже название дал Беликову «глитай аборж паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «аборж паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

— Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники, — все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому, — это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу, — выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

— Какие есть нехорошие, злые люди! — проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная.

— А мы, — кричит она, — вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня...

— Позвольте, что же это такое? — спросил он. — Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

— Что же тут неприличного? — сказал я. — И пусть катаются себе на здоровье.

— Да как же можно? — крикнул он, изумляясь моему спокойствию. — Что вы говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он всё время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

— Садитесь, покорнейше прошу, — проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

— Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквильянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем... Я не подавал никакого повода к такой насмешке, — напротив же, всё время вел себя как вполне порядочный человек. Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

— И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

— Почему же? — спросил Коваленко басом.

— Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно!

— Что же собственно вам угодно?

— Мне угодно только одно — предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы — человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя... Что же хорошего?

— Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! — сказал Коваленко и побагровел. — А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

— Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, — сказал он. — И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

— А разве я говорил что дурное про властей? — спросил Коваленко, глядя на него со злобой. — Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

— Можете говорить, что вам угодно, — сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. — Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и, чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан это сделать.

— Доложить? Ступай, докладывай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно; встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели — и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем; ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, — ах, как бы чего не вышло! — нарисуют новую карикатуру, и кончится всё это тем, что прикажут подать в отставку...

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

— Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, залихватным «ха-ха-ха» завершилось всё: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет — и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии; никому не

хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, — чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человек в футляре осталось, сколько их еще будет!

— То-то вот оно и есть, — сказал Иван Иванович и за курил трубку.

— Сколько их еще будет! — повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

— Луна-то, луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было всё село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Всё было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и всё благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

— То-то вот оно и есть, — повторил Иван Иванович. — А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

— Нет, уж пора спать, — сказал Буркин. — До завтра!

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп... Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп... Собаки заворчали.

— Это Мавра ходит, — сказал Буркин.

Шаги затихли.

— Видеть и слышать, как лгут, — проговорил Иван Иванович, поворачиваясь на другой бок, — и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не смей открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и всё это из-за куса хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, больше жить так невозможно!

— Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иванович, — сказал учитель. — Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иванович всё ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

Антон Чехов

ИОНЫЧ

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в *pinse-nez*, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было Вознесение, — после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и всё время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

— Здравствуйте пожалуйста, — сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. — Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, — продолжал он, представляя доктора жене, — я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здесь, — говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. — Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

— Ах ты, цыпка, баловница... — нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. — Вы очень кстати пожаловали, — обратился он опять к гостю, — моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

— Жанчик, — сказала Вера Иосифовна мужу, — dites que l'on nous donne du thé.

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

— Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной, с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, — читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли, — не хотелось вставать.

— Недурственно... — тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

— Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

— Вы печатаете свои произведения в журналах? — спросил у Веры Иосифовны Старцев.

— Нет, — отвечала она, — я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? — пояснила она. — Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, — сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла всё по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело всё: и пол, и потолок, и мебель...

Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и всё сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения,

сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но всё же культурные звуки, — было так приятно, так ново...

— Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, — сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. — Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слышали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно! — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. — Вы где учились музыке? — спросил он у Екатерины Ивановны. — В консерватории?

— Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

— Вы кончили курс в здешней гимназии?

— О нет! — ответила за нее Вера Иосифовна. — Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

— А все-таки в консерваторию я поеду, — сказала Екатерина Ивановна.

— Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

— Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризная, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их и всё время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не всё. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно», — подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый, и томный...

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно...» — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев всё собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться всё чаще. У Туркиных перебивали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шёпотом, сильно волнуясь:

— Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдите в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на рояле, — говорил он, идя за ней, — потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видел вас целую неделю, — продолжал Старцев, — а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

— Что вам угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

— Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищалась его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с—ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? — спросил он теперь. —
Говорите, прошу вас.

— Я читала Писемского.

— Что именно?

— «Тысяча душ», — ответила Котик. — А как смешно звали Писемского: Алексей
Феофилактыч!

— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. — Мне
необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять
минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку
записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, — прочел Старцев, — будьте на кладбище возле
памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, — подумал он, придя в себя. — При чем тут кладбище?
Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет серьезно в голову назначать
свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на
улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному
человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над
которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут
товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине
одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке.
Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, были
собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел
на кладбище пешком. «У всякого свои странности, — думал он. — Котик тоже
странная и — кто знает? — быть может, она не шутит, придет», — и он отдался этой
слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес
или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на
воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же...» Старцев вошел в калитку, и
первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и
черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные
деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле;
листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах,
и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он
видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть:
мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно
здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой
могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную,
вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет
прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева
раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он

вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и, точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг всё потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, — уже было темно, как в осеннюю ночь, — потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

— Я устал, едва держусь на ногах, — сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал:

«Ох, не надо бы полнеть!»

III

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запираательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало», — думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»

«Ну что ж? — думал он. — И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней, — продолжал кусочек, — то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну что ж? — думал он. — В городе, так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он — оставаться тут ему было уже незачем — поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

— Делать нечего, — сказал Иван Петрович, — поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

— Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, — говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, — он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

— А я вчера был на кладбище, — начал Старцев. — Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

— Вы были на кладбище?

— Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

— И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захотела и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

— Довольно, — сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городской около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

— Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то всё топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас, — выговорил наконец Старцев, — будьте моей женой!

— Дмитрий Ионыч, — сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. — Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но... — она встала и продолжала стоя, — но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч

(она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех... — у нее слезы навернулись на глазах, — я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокоить сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно и самолюбие его было оскорблено, — он не ожидал отказа, — и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но, когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

— Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходилась близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставлял в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откусать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и всё, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение,

волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это — по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, — было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая всё еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.»

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

— А, здравствуйте пожалуйста! — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. — Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

— Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

— Сколько лет, сколько зим! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: — Как вы пополнили! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже доставало в ней, или что-то было лишнее, — он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, — и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, — думал он, — не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

— Недурственно, — сказал Иван Петрович. Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», — подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

— Давайте же поговорим, — сказала она, подходя к нему. — Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, — продолжала она нервно, — я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, — бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдите в сад. Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

— Как же вы поживаете? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ничего, живем понемножку, — ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

— Я волнуюсь, — сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, — но вы не обращайтесь внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил всё, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

— А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? — сказал он. — Тогда шел дождь, было темно...

Огонек всё разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

— Эх! — сказал он со вздохом. — Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

— Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! — повторила Екатерина Ивановна с увлечением. — Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

— Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, — продолжала она. — Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять:

«А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

— Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, — говорил Иван Петрович, провожая его. — Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! — сказал он, обращаясь в передней к Паву.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

— Умри, несчастная!

Всё это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил всё сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? — писала она. — Я боюсь, что Вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что всё хорошо».

Мне необходимо поговорить с Вами. Ваша Е. Т.»

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паву:

— Скажи, любезный, что сегодня я не могу ехать, я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он всё не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал. И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнился, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая

внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но всё же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. — «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно оттого, что горло заплывло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом:

— Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За всё время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все — и старшины клуба, и повар, и лакей — знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

— Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

— Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и всё, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему всё острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

— Прощайте пожалуйста!

А. П. Чехов

ПАЛАТА № 6

I

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним -- глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда негодная, истасканная обувь, -- вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах.

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе, -- ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислую капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это -- сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий, худощавый мещанин с рыжими, блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате

от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает за тем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты No 6 только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом -- хлеба, в третьем -- копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Всё, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.

Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Grimасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать -- желает им спокойной ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна,

как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах, и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попури из старых, но еще недопетых песен.

II

Лет 12--15 тому назад, в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечную чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик-отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал 60 -- 70 рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но, благодаря своему раздражительному характеру и мнительности, он ни с кем близко не сходил и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе как негодуя и возмущаясь или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он всё сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же, он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, всё и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.

Читал он очень много. Бывало, всё сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на всё, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.

III

Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и всё думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец, судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от суммы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того, чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалованье, а затем -- всё кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость и всякий акт

милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, -- думал он, -- то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они в самом деле прийти в голову безо всякого повода.

Городовой, не спеша, прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то, значит, его мучают угрызения совести -- какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи -- вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного, -- была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынный хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич, в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнившие трупа -- старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее -- это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы переключивать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он

потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату No 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.

IV

Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой -- оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это -- неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый, удушливый смрад.

Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют, -- к этому можно привыкнуть, -- а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.

Пятый и последний обитатель палаты No 6 -- мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький, худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать не трудно.

-- Поздравьте меня, -- говорит он часто Ивану Дмитричу, -- я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение, -- улыбается он, в недоумении пожимая плечами. -- Вот уж, признаться, не ожидал!

-- Я в этом ничего не понимаю, -- угрюмо заявляет Иван Дмитрич.

-- Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? -- продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза. -- Я непременно получу шведскую Полярную Звезду. Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого льют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается

по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшеюся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит всё об одних и тех же орденах.

Свежих людей редко видят в палате No 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цырюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это, и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цырюльника, мы говорить не будем.

Кроме цырюльника никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.

Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух. Распустили слух, что палату No 6 будто бы стал посещать доктор.

V

Странный слух!

Доктор Андрей Ефимыч Рагин -- замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере, и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно -- не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая; своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разьевшегося, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком -- дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: "виноват!" У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще, одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежда, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такою же поношенною и помятою, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, "богоугодное заведение" находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья

нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастаньяша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рязбичиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это -- выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкапа с инструментами; смотритель же, кастаньяша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать "дай" или "принеси" ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: "Как бы мне чаю"... или: "Как бы мне пообедать". Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность -- для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет, как рак, и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

-- Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение...

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35, послезавтра 40, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь 40 приходящим больным от

утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году 12000 приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто 12000 человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого, прежде всего, нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

VI

Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелой лампадой, возле -- ставник в белом чехле; на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист, а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с кадильницей и кадит в них ладаном.

Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и

машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается.

-- Болеем и нужду терпим оттого, -- говорит он, -- что господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только "Врача", которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по несколько часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:

-- Дарьюшка, как бы мне пообедать...

После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

-- Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? -- спрашивает она озабоченно.

-- Нет, еще не время... -- отвечает он. -- Я погожу... погожу...

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: "Замолчать!", так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.

-- А вот и я! -- говорит он, входя к Андрею Ефимычу. -- Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?

-- Напротив, очень рад, -- отвечает ему доктор. -- Я всегда рад вам.

Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.

-- Дарьюшка, как бы нам пива! -- говорит Андрей Ефимыч.

Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор -- задумавшись, а Михаил Аверьяныч -- с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинает доктор.

-- Как жаль, -- говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит в глаза), -- как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия.

-- Совершенно верно. Согласен.

-- Вы сами изволите знать, -- продолжает доктор тихо и с расстановкой, -- что на этом свете всё незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума, -- значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги -- это ноты, а беседа -- пение.

-- Совершенно верно.

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.

-- Эх! -- вздыхает Михаил Аверьяныч. -- Захотели от нынешних ума!

И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ -- какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы, одна без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

-- Царица небесная, матушка... -- вздыхает Дарьюшка.

-- А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!

Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает и прихлебывает пиво.

-- Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, -- говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча. -- Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни... Зачем? Хочет

он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится -- ему не отворяют; к нему приходит смерть -- тоже против его воли. И вот, как в тюрьме, люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.

-- Совершенно верно.

Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается: "Совершенно верно".

-- А вы не верите в бессмертие души? -- вдруг спрашивает почтмейстер.

-- Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

-- Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь!..

В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом:

-- Однако, в какую глушь занесла нас судьба!

Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!..

VII

Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен? -- думает он. -- Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земною корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину.

Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия! Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе... Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка.

Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с

охлажденную землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто 12000 человек; всё больничное дело, как и 20 лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате No 6 за решетками Никита колотит больных и что Мойсейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню.

С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние 25 лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике, делают операции, какие великий Пирогов считал невозможными даже *in spe* {в надежде, в будущем (лат.)}. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытия Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина? Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения -- это в сравнении с тем, что было, целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубах; их содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата No 6, возможна разве только в двухстах верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные -- полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватали в клочья эту маленькую Бастилию.

"Но что же? -- спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза. -- Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность всё те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, всё вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клиником и моею больницей, в сущности, нет никакой".

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает:

"Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я не честен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье... Значит, в своей нечестности виноват не я, а время... Родись я двумястами лет позже, я был бы другим".

Когда бьет 3 часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.

VIII

Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек -- ему нет и тридцати, -- высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга -- "Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г." Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолия с уксусом, будет тебе тень наводить и т. п.

В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.

IX

В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с милостыней.

-- Дай копеечку! -- обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь.

Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник.

"Как это нехорошо, -- подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколками. -- Ведь мокро".

И, побуждаемый чувством, похожим и на жалость, и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входе доктора, с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.

-- Здравствуй, Никита, -- сказал мягко Андрей Ефимыч. -- Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

-- Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.

-- Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил.

Дверь из сеней в палату была отворена. Иван Дмитрич, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами навывкате, выбежал на середину палаты.

-- Доктор пришел! -- крикнул он и захохотал. -- Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом! Проклятая гадина! --

взвизгнул он и в испуге, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой. -- Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!

Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:

-- За что?

-- За что? -- крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат. -- За что? Вор! -- проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть. -- Шарлатан! Палач!

-- Успокойтесь, -- сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь. -- Уверю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?

-- А за что вы меня здесь держите?

-- За то, что вы больны.

-- Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество неспособно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?

-- Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Всё зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и всё. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

-- Этой ерунды я не понимаю... -- глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать.

Мойсейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, всё еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку.

-- Отпустите меня, -- сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул.

-- Не могу.

-- Но почему же? Почему?

-- Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам оттого, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.

-- Да, да, это правда... -- проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб. -- Это ужасно! Но что же мне делать? Что?

Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал:

-- Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении -- бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.

-- Никому оно не нужно.

-- Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы -- так я, не я -- так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет.

Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.

-- Вы шутите, -- сказал он, шуря глаза. -- Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и -- на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!

Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:

-- Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!

-- Я не нахожу особенной причины радоваться, -- сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось. -- Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся всё те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, всё же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

-- А бессмертие?

-- Э, полноте!

-- Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

-- Хорошо сказано, -- проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия. -- Это хорошо, что вы веруете. С такою верой можно жить припеваючи даже замуравленному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?

-- Да, я был в университете, но не кончил.

-- Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира -- вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных.

-- Ваш Диоген был болван, -- угрюмо проговорил Иван Дмитрич. -- Что вы мне говорите про Диогена, да про какое-то уразумение? -- рассердился он вдруг и вскочил. -- Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос:

-- Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы... Скажите мне, ну, что там нового? -- спросил Иван Дмитрич. -- Что там?

-- Вы про город желаете знать или вообще?

-- Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.

-- Что ж? В городе томительно скучно... Не с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов.

-- Он еще при мне приехал. Что, хам?

-- Да, не культурный человек. Странно, знаете ли... Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение, -- значит, должны быть там и

настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город!

-- Да, несчастный город! -- вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся. -- А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?

В палате было уже темно. Доктор поднялся и, стоя, начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель, спиной к доктору.

-- Что с вами? -- спросил Андрей Ефимыч.

-- Вы от меня не услышите больше ни одного слова! -- грубо проговорил Иван Дмитрич. -- Оставьте меня!

-- Отчего же?

-- Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал:

-- Как бы здесь убрать, Никита... Ужасно тяжелый запах!

-- Слушаю, ваше высокоблагородие.

"Какой приятный молодой человек! -- думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру. -- За всё время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно".

Читая и потом ложась спать, он всё время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.

Х

Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.

-- Здравствуйте, мой друг, -- сказал Андрей Ефимыч. -- Вы не спите?

-- Во-первых, я вам не друг, -- проговорил Иван Дмитрич в подушку, -- а вторых, вы напрасно хлопчете: вы не добьетесь от меня ни одного слова.

-- Странно... -- пробормотал Андрей Ефимыч в смущении. -- Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали... Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, несогласную с вашими убеждениями...

-- Да, так я вам и поверю! -- сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны. -- Можете идти шпионить и пытаться в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили.

-- Странная фантазия! -- усмехнулся доктор. -- Значит, вы полагаете, что я шпион?

-- Да, полагаю... Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание, -- это всё равно.

-- Ах, какой вы, право, извините... чудак!

Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой.

-- Но допустим, что вы правы, -- сказал он. -- Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве

в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?

Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел.

Был пятый час вечера, -- время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода.

-- А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите, -- сказал доктор. -- Совсем весна.

-- Теперь какой месяц? Март? -- спросил Иван Дмитрич.

-- Да, конец марта.

-- Грязно на дворе?

-- Нет, не очень. В саду уже тропинки.

-- Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город, -- сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза, точно спросонок, -- потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и... и полечиться у порядочного доктора от головной боли... Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко!

После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова.

-- Между теплым, уютным кабинетом и этою палатой нет никакой разницы, -- сказал Андрей Ефимыч. -- Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом.

-- То есть как?

-- Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий -- от самого себя.

-- Идите, проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?

-- Да, вчера со мной.

-- Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось, скрючило бы от холода.

-- Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал: "Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет". Это справедливо. Мудрец, или, попросту, мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.

-- Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости.

-- Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно всё то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем -- истинное благо.

-- Уразумение... -- поморщился Иван Дмитрич. -- Внешнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, -- сказал он, вставая и сердито глядя на доктора, -- я знаю, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость -- негодованием, на мерзость -- отвращением. По-моему, это собственно и

называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до такого состояния, -- и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика, -- или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ, -- продолжал Иван Дмитрич с раздражением, -- и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать.

-- Напротив, вы прекрасно рассуждаете.

-- Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не подвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как всё существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стоиков никогда не может иметь будущности, прогрессируют же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение...

Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб.

-- Хотел сказать что-то важное, да сбился, -- сказал он. -- О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стоиков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме всё, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерти, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия.

Иван Дмитрич засмеялся и сел.

-- Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом, -- сказал он. -- Положим, нужно презирать страдания и ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ?

-- Нет, я не философ, но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно.

-- Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли?

-- Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям.

-- А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и с желтой шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на

бесплатной квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой, имея притом право работать как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее, презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо, -- всё это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, всё равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить -- умирать и не пить -- умирать. Приходит баба, зубы болят... Ну, что ж? Боль есть представление о боли и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все помрем, а потому ступай баба прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое "истинное благо"? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь... Да! -- опять рассердился Иван Дмитрич. -- Страдания презираете, а небось прищепи вам дверью палец, так заорете во все горло!

-- А может, и не заору, -- сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь.

-- Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, -- ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.

-- Это оригинально, -- сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки. -- Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изводили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня...

XI

Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставляла его в беседе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое.

Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч стал посещать палату No 6. Никто -- ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем

он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставлял его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду.

Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор:

-- Мы никогда не споемся и обратить меня в свою веру вам не удастся, -- говорил Иван Дмитрич с раздражением. -- С действительностью вы совершенно не знакомы и никогда вы не страдали, а только, как пьяница, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.

-- Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру, -- проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять. -- И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами.

Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.

На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.

-- А наш дед, кажется, совсем сдрефил! -- сказал Хоботов, выходя из флигеля.

-- Господи, помилуй нас, грешных! -- вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. -- Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!

ХП

После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: "Совершенно верно", а в непонятном смущении бормотал: "да, да, да..." и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового

священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий.

В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного, белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою фамилиею, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе и был теперь в городе проездом.

-- Тут заявленьице по вашей части-с, -- обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол. -- Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина -- флигель ремонту захочет.

-- Да, без ремонта не обойтись, -- сказал Андрей Ефимыч, подумав. -- Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей пятьсот. Расход непроизводительный.

Немного помолчали.

-- Я уже имел честь докладывать десять лет назад, -- продолжал Андрей Ефимыч тихим голосом, -- что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовые больницы.

-- Так вот и давайте заводите другие порядки! -- живо сказал член управы.

-- Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства.

-- Да, передайте земству деньги, а оно украдет, -- засмеялся белокурый доктор.

-- Это как водится, -- согласился член управы и тоже засмеялся.

Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:

-- Надо быть справедливым.

Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал:

-- Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.

Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а всё время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, всё же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил:

-- Андрей Ефимыч, какое сегодня число?

Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате No 6 живет замечательный пророк.

В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал:

-- Да, это больной, но интересный молодой человек. Больше ему не задавали никаких вопросов.

Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:

-- Нам, старикам, на отдых пора!

Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину.

"Боже мой, -- думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его, -- ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен, -- откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!"

И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным.

В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:

-- Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом... Друг мой! -- и, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь: -- Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедем вместе! Поедем, тряхнем стариной.

-- Я чувствую себя совершенно здоровым, -- сказал Андрей Ефимыч, подумав. -- Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу.

Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за 20 лет, -- такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему.

-- А вы собственно куда намерены ехать? -- спросил он.

-- В Москву, в Петербург, в Варшаву... В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!

ХIII

Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с

прозрачную далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: "Замолчать! не рассуждать!" А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться.

По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахнешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемежку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

"Кто из нас обоих сумасшедший? -- думал он с досадой. -- Я ли, который стараюсь ничем не беспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?"

В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погон и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал всё хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтоб ему служивали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички; при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье; лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил ты и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:

-- Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик.

Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее.

Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню, разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:

-- Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!

XIV

Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему возможно больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решился. К счастью, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться.

Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастье невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы.

"А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия, -- думал доктор с досадой. -- Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди".

В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился всё болтливее и развязнее; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.

"Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич, -- думал он, сердясь на свою мелочность. -- Впрочем, вздор... Приеду домой, и всё пойдет по-старому..."

И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива.

Михаил Аверьяныч всё время торопил ехать в Варшаву.

-- Дорогой мой, зачем я туда поеду? -- говорил Андрей Ефимыч умоляющим голосом. -- Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас!

-- Ни под каким видом! -- протестовал Михаил Аверьяныч. -- Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни!

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по обыкновению, здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал:

-- Честь прежде всего!

Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом:

-- Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришлось в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой, -- обратился он к доктору, -- презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!

Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, всё еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал:

-- Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!

Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире, в ожидании, когда Андрей Ефимыч придет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своею кухаркой, уже жила в одном из флигелей.

По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со зрителем и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения.

Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру.

-- Друг мой, -- сказал ему робко почтмейстер, -- извините за нескромный вопрос: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал:

-- Восемьдесят шесть рублей.

-- Я не о том спрашиваю, -- проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора. -- Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?

-- Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей... Больше у меня ничего нет.

Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал по крайней мере тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.

XV

Андрей Ефимыч жил в трехконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.

Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял

подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетки, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.

Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды -- одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил:

-- К чёрту!

И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось.

Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил не честно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже 32 рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег.

Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Всё было в нем противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово "коллега", и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня.

И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускною развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится всё выше и словно подходит к горлу.

Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Всё -- и культура, и нравственный закон -- пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Всё это вздор и пустяки.

Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: "А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях... Непременно".

XVI

Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван.

-- А сегодня, дорогой мой, -- начал Михаил Аверьяныч, -- у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом!

-- Пора, пора поправляться, коллега, -- сказал Хоботов, зевая. -- Небось вам самим надоела эта канитель.

-- И поправимся! -- весело сказал Михаил Аверьяныч. -- Еще лет сто жить будем! Так-тось!

-- Сто не сто, а на двадцать еще хватит, -- утешал Хоботов. -- Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будет вам тень наводить.

-- Мы еще покажем себя! -- захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену. -- Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем -- гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем. -- Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом. -- Женим вас, дружка милого... женим...

Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилося сердце.

-- Это пошло! -- сказал он, быстро вставая и отходя к окну. -- Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.

-- Оставьте меня! -- крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. -- Вон! Оба вон, оба!

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом.

-- Оба вон! -- продолжал кричать Андрей Ефимыч. -- Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятелились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед; склянка со звоном разбилась о порог.

-- Убирайтесь к чёрту! -- крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. -- К чёрту!

По уходе гостей, Андрей Ефимыч, дрожа, как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял:

-- Тупые люди! Глупые люди!

Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что всё это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?

Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.

-- Не будем вспоминать о том, что произошло, -- сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку. -- Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! -- вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. -- Поддай стул. А ты подожди! -- крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо. -- Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое, -- продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу. -- Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.

Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:

-- У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность, -- зашептал Михаил Аверьяныч, -- вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что... Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайте нашего совета: ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович хотя и моветон, между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами.

Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.

-- Уважаемый, не верьте! -- зашептал он, прикладывая руку к сердцу. -- Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне всё равно, я на всё готов.

-- Ложитесь в больницу, дорогой мой.

-- Мне всё равно, хоть в яму.

-- Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча.

-- Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь всё, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному -- к моей гибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это.

-- Голубчик, вы выздоровеете.

-- К чему это говорить? -- сказал Андрей Ефимыч с раздражением. -- Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца, и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним

словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.

Между тем, у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери.

В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:

-- А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а?

Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или, в самом деле, дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.

-- А где ваш больной? -- спросил Андрей Ефимыч.

-- У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам... Интереснейший случай.

Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И всё это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся.

-- Тут у одного произошло осложнение со стороны легких, -- сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату. -- Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом.

И вышел.

XVII

Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо.

Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.

-- Пожалуйста одеваться, ваше высокоблагородие, -- сказал он тихо. -- Вот ваша постелька, пожалуйста сюда, -- добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. -- Ничего, бог даст, выздоровеете.

Андрей Ефимыч всё понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень коротки, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбой.

-- Выздоровеете, бог даст, -- повторил Никита.

Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь.

"Всё равно... -- думал Андрей Ефимыч, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта. -- Всё равно... Всё равно, что фрак, что мундир, что этот халат..."

Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Всё это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мешанки Беловой и палатой No 6 нет никакой разницы, что всё на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел.

Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно, и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть всё время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно.

Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что всё лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся.

-- Это какое-то недоразумение... -- проговорил он, разводя руками в недоумении. -- Надо объясниться, тут недоразумение...

В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.

-- Ага, и вас засадили сюда, голубчик! -- проговорил он сиплым спросонок голосом, зажмурив один глаз. -- Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!

-- Это какое-то недоразумение... -- проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил: -- недоразумение какое-то...

Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.

-- Проклятая жизнь! -- проворчал он. -- И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащут мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну, ничего... Зато на том свете будет наш праздник... Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку.

-- Дай копеечку! -- сказал он.

XVIII

Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженьях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменной стеной. Это была тюрьма.

"Вот она действительность!" -- подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.

Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что всё со временем сгниет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддавалась.

Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел.
-- Я пал духом, дорогой мой, -- пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот.
-- Пал духом.

-- А вы пофилософствуйте, -- сказал насмешливо Иван Дмитрич.

-- Боже мой, боже мой... Да, да... Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда, -- сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить. -- Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, узость, пошлость! О, боже мой!

-- Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.

-- Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой... Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом... протрация... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели... Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча всё время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.

-- Я выйду отсюда, дорогой мой, -- сказал он. -- Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу так... не в состоянии...

Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу.

-- Куда вы? Нельзя, нельзя! -- сказал он. -- Пора спать!

-- Но я только на минуту, по двору пройтись! -- оторопел Андрей Ефимыч.

-- Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете. Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.

-- Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? -- спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами. -- Не понимаю! Никита, я должен выйти! -- сказал он дрогнувшим голосом. -- Мне нужно!

-- Не заводите беспорядков, нехорошо! -- сказал наставительно Никита.

-- Это чёрт знает что такое! -- вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил. -- Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!

-- Конечно, произвол! -- сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича. -- Мне нужно, я должен выйти! Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!

-- Слышишь, тупая скотина? -- крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. -- Отвори, а то я дверь выломаю! Живо дер!

-- Отвори! -- крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом. -- Я требую!

-- Поговори еще! -- ответил за дверью Никита. -- Поговори!

-- По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту!

-- Завтра они сами придут.

-- Никогда нас не выпустят! -- продолжал между тем Иван Дмитрич. -- Сгноят нас здесь! О, господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! --

крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. -- Я размозжу себе голову! Убийцы!

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину.

Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били.

Затем всё стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука, и ноги не повиновались; задышавшись, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.

XIX

Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренно высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было всё равно.

Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал.

"Мне всё равно, -- думал он, когда ему задавали вопросы. -- Отвечать не стану... Мне всё равно".

После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь.

Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во всё тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба

протянула к нему руку с заказным письмом... Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом всё исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза.

Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.

Ещё с раннего утра всё небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждёшь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зелёные ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, — сказал Буркин, — вы собирались рассказать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.

Иван Иванович протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошёл дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иванович и Буркин остановились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куда-нибудь, — сказал Буркин. — Пойдёмте к Алёхину. Тут близко.

— Пойдёмте.

Они свернули в сторону и шли всё по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плёс с мельницей и белою купальней. Это было Софьино, где жил Алёхин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понутив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неудобно, и вид у плёса был холодный, злой. Иван Иванович и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всём теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга.

В одном из амбаров шумела веялка; дверь была открыта, и из неё валила пыль. На пороге стоял сам Алёхин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нём была белая, давно не мытая рубаха с верёвочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Ивановича и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом, — сказал он, улыбаясь. — Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой, двухэтажный. Алёхин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешёвою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Ивановича и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа, — говорил Алёхин, входя за ними в переднюю. — Вот не ожидал! Пелагея, — обратился он к горничной, —

дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да кстати и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алёхин с гостями пошёл в купальню.

— Да, давно я уже не мылся, — говорил он, раздеваясь. — Купальня у меня, как видите, хорошая, отец ещё строил, но мыться как-то всё некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь... — проговорил Иван Иванович значительно, глядя на его голову.

— Давно я уже не мылся... — повторил Алёхин конфузливо и ещё раз намылился, и вода около него стала тёмно-синей, как чернила.

Иван Иванович вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождём, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плёса и нырнул, и через минуту показался на другом месте и поплыл дальше, и всё нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой... — повторял он, наслаждаясь. — Ах, боже мой...» Доплыл до мельницы, о чём-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плёса лёг, подставляя своё лицо под дождь. Буркин и Алёхин уже оделись и собрались уходить, а он всё плавал и нырял.

— Ах, боже мой... — говорил он. — Ах, господи помилуй.

— Будет вам! — крикнул ему Буркин.

Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иванович, одетые в шёлковые халаты и тёплые туфли, сидели в креслах, а сам Алёхин, умытый, причёсанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, лёгкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иванович приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не один только Буркин и Алёхин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.

— Нас два брата, — начал он, — я, Иван Иванович, и другой — Николай Иванович, года на два помоложе. Я пошёл по учёной части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казённой палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьешко. После его смерти именьешко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, всё равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу, и прочее тому подобное... А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелётных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казённой палате. Годы проходили, а он всё сидел на одном месте, писал всё те же бумаги и думал всё об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определённое желание, в мечту купить себе маленькую усадьбу где-нибудь на берегу реки или озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без

подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идёт такой вкусный запах по всему двору, есть на зелёной травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства, — говорил он, бывало. — Сидишь на балконе, пьёшь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо и... и крыжовник растёт.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: а) барский дом, б) людская, в) огород, г) крыжовник. Жил он скупой: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и всё копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он всё читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Всё с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у неё водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупой, держал её впроголодь, а деньги её положил в банк на своё имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба чёрного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала богу душу. И конечно брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в её смерти. Деньги, как водка, делают человека чудачком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку мёду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с мёдом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив и ему отрезало ногу. Несём мы его в приёмный покой, кровь льёт — страшное дело, а он всё просит, чтобы ногу его отыскали, и всё беспокоится; в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.

— Это вы уж из другой оперы, — сказал Буркин.

— После смерти жены, — продолжал Иван Иванович, подумав полминуты, — брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но всё же в конце концов ошибёшься и купишь совсем не то, о чём мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую — костопальный. Но мой Николай Иванович мало печалился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл своё имение так: Чумбароклова Пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы,

изгороди, посажены рядами ёлки, — и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, расплелся, обрюзг; щёки, нос и губы тянутся вперёд, — того и гляди, хрюкнет в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седые и умирать пора. Он оделся и повёл меня показывать своё имение.

— Ну, как ты тут поживаешь? — спросил я.

— Да ничего, слава богу, живу хорошо.

Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уж обжился тут, привык и вошёл во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат ура, и пьяные кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казённой палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

— Я знаю народ и умею с ним обращаться, — говорил он. — Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает всё, что захочу.

И всё это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил: «мы, дворяне», «я, как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нём, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами, — он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребёнка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:

— Как вкусно!

И он с жадностью ел и всё повторял:

— Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жёстко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжёлое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал

по яголке. Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, враньё... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днём едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников, но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут своё бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясётся беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живёт себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, — и всё обстоит благополучно.

— В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив, — продолжал Иван Иванович, вставая. — Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без неё нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иванович, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не всё сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в своё время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастёт сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжёлого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я неспособен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадную, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если б я был молод!

Иван Иванович прошёлся в волнении из угла в угол и повторил:

— Если б я был молод!

Он вдруг подошёл к Алёхину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.

— Павел Константиныч, — проговорил он умоляющим голосом, — не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чём-то более разумном и великом. Делайте добро!

И всё это Иван Иванович проговорил с жалкой, просящею улыбкой, как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Ивановича не удовлетворил ни Буркина, ни Алёхина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где всё — и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами говорили, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, — это было лучше всяких рассказов.

Алёхину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иванович, он не вникал; гости говорили не о крупе, не о сене, не о дёгте, а о чём-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали...

— Однако пора спать, — сказал Буркин, поднимаясь. — Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

Алёхин простился и ушёл к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распятие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельём.

Иван Иванович молча разделся и лёг.

— Господи, прости нас грешных! — проговорил он и укрылся с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и всё никак не мог понять, откуда этот тяжёлый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому
что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти.
(I посл. Иоан. III, 14)

А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде,
затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь
божия? *(III, 17)*

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и
истиной. *(III, 18)*

Любовь от бога, и всякий любящий рожден от бога и знает
бога. *(IV, 7)*

Кто не любит, тот не познал бога, потому что бог есть
любовь. *(IV, 8)*

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то
бог в нас пребывает. *(IV, 12)*

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в боге,
и бог в нем. *(IV, 16)*

Кто говорит: я люблю бога, а брата своего ненавидит, тот
лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как
может любить бога, которого не видит? *(IV, 20)*

I

Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьею сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та изнасилась в лохмотья; и второй год собирался сапожник купить овчин на новую шубу.

К осени собрались у сапожника деньжонки: три рубля бумажка лежала у бабы в сундуке, а еще пять рублей двадцать копеек было за мужиками в селе.

И собрался с утра сапожник в село за шубой. Надел нанковую бабью куртушку на вате на рубаху, сверху кафтан суконный, взял бумажку трехрублевую в карман, выломал палку и пошел после завтрака. Думал: «Получу пять рублей с мужиков, приложу своих три,— куплю овчин на шубу».

Пришел сапожник в село, зашел к одному мужику — дома нет, обещала баба на неделе прислать мужа с деньгами, а денег не дала; зашел к другому,— забожился мужик, что нет денег, только двадцать копеек отдал за починку сапог. Думал сапожник в долг взять овчины,— в долг не поверил овчинник.

— Денежки,— говорит,— принеси, тогда выбирай любые, а то знаем мы, как долги выбирать.

Так и не сделал сапожник никакого дела, только получил двадцать копеек за починку да взял у мужика старые валенки кожей обшить.

Потужил сапожник, выпил на все двадцать копеек водки и пошел домой без шубы. С утра сапожнику морозно показалось, а выпивши — тепло было и без шубы. Идет сапожник дорогой, одной рукой палочкой по мерзлым калмыжкам постукивает, а другой рукой сапогами валеными помахивает, сам с собой разговаривает.

— Я,— говорит,— и без шубы тёпел. Выпил шкалик; оно во всех жилках играет. И тулупа не надо. Иду, забывши горе. Вот какой я человек! Мне что? Я без шубы проживу. Мне ее век не надо. Одно — баба заскучает. Да и обидно — ты на него работай, а он тебя водит. Постой же ты теперь: не принесешь денежки, я с тебя шапку сниму, ей-богу, сниму. А то что же это? По

двугривенному отдает! Ну что на двугривенный сделаешь? Выпить — одно. Говорит: нужда. Тебе нужда, а мне не нужда? У тебя и дом, и скотина, и все, а я весь тут; у тебя свой хлеб, а я на покупном,— откуда хочешь, а три рубля в неделю на один хлеб подай. Приду домой — а хлеб дошел; опять полтора рубля выложь. Так ты мне мое отдай.

Подходит так сапожник к часовне у повертка, глядит — за самой за часовой что-то белеется. Стало уж смеркаться. Приглядывается сапожник, а не может рассмотреть, что такое. «Камня, думает, здесь такого не было. Скотина? На скотину не похоже. С головы похоже на человека, да бело что-то. Да и человеку зачем тут быть?»

Подошел ближе — совсем видно стало. Что за чудо: точно, человек, живой ли, мертвый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится. Страшно стало сапожнику; думает себе: «Убили какие-нибудь человека, раздели, да и бросили тут. Подойди только, и не разделаешься потом».

И пошел сапожник мимо. Зашел за часовню — не видать стало человека. Прошел часовню, оглянулся, видит — человек отслонился от часовни, шевелится, как будто приглядывается. Еще больше заробел сапожник, думает себе: «Подойти или мимо пройти? Подойти — как бы худо не было: кто его знает, какой он? Не за добрые дела попал сюда. Подойдешь, а он вскочит да задушит, и не уйдешь от него. А не задушит, так поди вожжайся с ним. Что с ним, с голым, делать? Не с себя же снять, последнее отдать. Пронеси только бог!»

И прибавил сапожник шагу. Стал уж проходить часовню, да зазрила его совесть.

И остановился сапожник на дороге.

— Ты что же это,— говорит на себя,— Семен, делаешь? Человек в беде помирает, а ты заробел, мимо идешь. Али дюже разбогател? боишься, ограбят богатство твое? Ай, Сема, неладно!

Повернулся Семен и пошел к человеку.

II

Подходит Семен к человеку, разглядывает его и видит: человек молодой, в силе, не видать на теле побоев, только видно — измороз человек и напуган; сидит, прислонясь, и не глядит на Семена, будто ослаб, глаз поднять не может. Подошел Семен вплоть, и вдруг как будто очнулся человек, повернул голову, открыл глаза и взглянул на Семена. И с этого взгляда полюбился человек Семену. Бросил он наземь валенки, распоясался, положил подпояску на валенки, скинул кафтан.

— Будет,— говорит,— толковать-то! Одевай, что ли! Ну-ка!

Взял Семен человека под локоть, стал поднимать. Поднялся человек. И видит Семен — тело тонкое, чистое, руки, ноги не ломаные и лицо умильное. Накинул ему Семен кафтан на плечи,— не попадет в рукава. Заправил ему Семен руки, натянул, запахнул кафтан и подтянул подпояскою.

Снял было Семен картуз рваный, хотел на голого надеть, да холодно голове стало, думает: «У меня лысина во всю голову, а у него виски курчавые, длинные». Надел опять. «Лучше сапоги ему обую».

Посадил его и сапоги валеные обул ему.

Одел его сапожник и говорит:

— Так-то, брат. Ну-ка, разминайся да согревайся. А эти дела все без нас разберут. Идти можешь?

Стоит человек, умильно глядит на Семена, а выговорить ничего не может.

— Что же не говоришь? Не зимовать же тут. Надо к жилью. Ну-ка, на вот дубинку мою, обопрись, коли ослаб. Раскачивайся-ка!

И пошел человек. И пошел легко, не отстает.

Идут они дорогой, и говорит Семен:

— Чей, значит, будешь?

— Я не здешний.

— Здешних-то я знаю. Попал-то, значит, как сюда, под часовню?

— Нельзя мне сказать.

— Должно, люди обидели?

— Никто меня не обидел. Меня бог наказал.

— Известно, все бог, да все же куда-нибудь прибиваться надо. Куда надо-то тебе?

— Мне все одно.

Подивился Семен. Не похож на озорника и на речах мягок, а не сказывает про себя. И думает Семен: «Мало ли какие дела бывают», — и говорит человеку:

— Что ж, так пойдем ко мне в дом, хоть отойдешь мало-мальски.

Идет Семен, не отстает от него странник, рядом идет. Поднялся ветер, прохватывает Семена под рубаху, и стал с него сходить хмель, и прозябать стал. Идет он, носом посапывает, запахивает на себе куртушку бабью и думает: «Вот-те и шуба, пошел за шубой, а без кафтана приду да еще голого с собой приведу. Не похвалит Матрена!» И как подумает об Матрене, скучно станет Семену. А как поглядит на странника, вспомнит, как он взглянул на него за часовней, так взиграет в нем сердце.

III

Убралась Семена жена рано. Дров нарубила, воды принесла, ребят накормила, сама закусила и задумалась; задумалась, когда хлебы ставить: нынче или завтра? Краюшка большая осталась.

«Если, думает, Семен там пообедает да много за ужином не съест, на завтра хватит хлеба».

Повертела, повертела Матрена краюху, думает: «Не стану нынче хлебов ставить. Муки и то всего на одни хлебы осталось. Еще до пятницы протянем».

Убрала Матрена хлеб и села у стола заплату на мужнину рубаху нашить. Шьет и думает Матрена про мужа, как он будет овчины на шубу покупать.

«Не обманул бы его овчинник. А то прост уж очень мой-то. Сам никого не обманет, а его малое дитя проведет. Восемь рублей деньги не малые. Можно хорошую шубу собрать. Хоть не дубленая, а все шуба. Прошлую зиму как бились без шубы! Ни на речку выйти, ни куда. А то вот пошел со двора, все на себя надел, мне и одеть нечего. Не рано пошел. Пора бы ему. Уж не загулял ли соколик-то мой?»

Только подумала Матрена, заскрипели ступеньки на крыльце, кто-то вошел. Воткнула Матрена иголку, вышла в сени. Видит — вошли двое: Семен и с ним мужик какой-то без шапки и в валенках.

Сразу почувяла Матрена дух винный от мужа. «Ну, думает, так и есть загулял». Да как увидела, что он без кафтана, в куртушке в одной и не несет ничего, а молчит, ужимается, оборвалось у Матрены сердце. «Пропил, думает, деньги, загулял с каким-нибудь непутевым, да и его еще с собой привел».

Пропустила их Матрена в избу, сама вошла, видит — человек чужой, молодой, худощавый, кафтан на нем ихний. Рубахи не видать под кафтаном, шапки нет. Как вошел, так стал, не шевелится и глаз не поднимает. И думает Матрена: недобрый человек — боится.

Насупилась Матрена, отошла к печи, глядит, что от них будет.

Снял Семен шапку, сел на лавку, как добрый.

— Что ж,— говорит,— Матрена, собери ужинать, что ли!

Пробурчала что-то себе под нос Матрена. Как стала у печи, не шевельнется: то на одного, то на другого посмотрит и только головой покачивает. Видит Семен, что баба не в себе, да делать нечего: как будто не примечает, берет за руку странника.

— Садись,— говорит,— брат, ужинать станем.

Сел странник на лавку.

— Что же, али не варила?

Взяло зло Матрену.

— Варила, да не про тебя. Ты и ум, я вижу, пропил. Пошел за шубой, а без кафтана пришел, да еще какого-то бродягу голого с собой привел. Нет у меня про вас, пьяниц, ужина.

— Будет, Матрена, что без толку-то языком стрекотать! Ты спроси прежде, какой человек...

— Ты сказывай, куда деньги девал?

Полез Семен в кафтан, вынул бумажку, развернул.

— Деньги — вот они, а Трифонов не отдал, завтра посулился.

Еще пуще взяло зло Матрену: шубы не купил, а последний кафтан на какого-то голого надел да к себе привел.

Схватила со стола бумажку, понесла прятать, сама говорит:

— Нет у меня ужина. Всех пьяниц голых не накормишь.

— Эх, Матрена, поддержи язык-то. Прежде послушай, что говорят...

— Наслушаешься ума от пьяного дурака. Недаром не хотела за тебя, пьяницу, замуж идти. Матушка мне холсты отдала — ты пропил; пошел шубу купить — пропил.

Хочет Семен растолковать жене, что пропил он только двадцать копеек, хочет сказать, где он человека нашел,— не дает ему Матрена слова вставить: откуда что берется, по два слова вдруг говорит. Что десять лет тому назад было, и то все помянула.

Говорила, говорила Матрена, подскочила к Семену, схватила его за рукав.

— Давай-поддевку-то мою. А то одна осталась, и ту с меня снял да на себя напер. Давай сюда, конопатый пес, пострел тебя расшиби!

Стал снимать с себя Семен куцавейку, рукав вывернул, дернула баба — затрещала в швах куцавейка. Схватила Матрена поддевку, на голову накинула и взялась за дверь. Хотела уйти, да остановилась: и сердце в ней расходилось — хочется ей зло сорвать и узнать хочется, какой-такой человек.

IV

Остановилась Матрена и говорит:

— Кабы добрый человек, так голый бы не был, а то на нем и рубахи-то нет. Кабы за добрыми делами пошел, ты бы сказал, откуда привел щеголя такого.

— Да я сказываю тебе: иду, у часовни сидит этот раздемши, застыл совсем. Не лето ведь, нагишом-то. Нанес меня на него бог, а то бы пропасть. Ну, как быть? Мало ли какие дела бывают! Взял, одел и привел сюда. Утиши ты свое сердце. Грех, Матрена. Помирать будем.

Хотела Матрена изругаться, да поглядела на странника и замолчала. Сидит странник — не шевельнется, как сел на краю лавки. Руки сложены на коленях, голова на грудь опущена, глаз не раскрывает и все морщится, как будто душит его что. Замолчала Матрена. Семен и говорит:

— Матрена, али в тебе бога нет?!

Услыхала это слово Матрена, взглянула еще на странника, и вдруг сошло в ней сердце. Отошла она от двери, подошла к печному углу, достала ужинать. Поставила чашку на стол, налила квасу, выложила краюшку последнюю. Подала нож и ложки.

— Хлебайте, что ль, — говорит.

Подвинул Семен странника.

— Пролезай, — говорит, — молодец.

Нарезал Семен хлеба, крошил, и стали ужинать. А Матрена села об угол стола, подперлась рукой и глядит на странника.

И жалко стало Матрене странника, и полюбила она его. И вдруг повеселел странник, перестал морщиться, поднял глаза на Матрену и улыбнулся.

Поужинали; убрала баба и стала спрашивать странника:

— Да ты чей будешь?

— Не здешний я.

— Да как же ты на дорогу-то попал?

— Нельзя мне сказать.

— Кто ж тебя обобрал?

— Меня бог наказал.

— Так голый и лежал?

— Так и лежал нагой, замерзал. Увидал меня Семен, пожалел, снял с себя кафтан, на меня надел и велел сюда прийти. А здесь ты меня накормила, напоила, пожалела. Спасет вас господь!

Встала Матрена, взяла с окна рубаху старую Семенову, ту самую, что платила, подала страннику, нашла еще портки, подала.

— На вот, я вижу, у тебя и рубахи-то нет. Оденься да ложись где полюбится — на хоры али на печь.

Снял странник кафтан, одел рубаху и портки и лег на хоры. Потушила Матрена свет, взяла кафтан и полезла к мужу.

Прикрылась Матрена концом кафтана, лежит и не спит, все странник ей с мыслей не идет.

Как вспомнит, что он последнюю краюшку доел и на завтра нет хлеба, как вспомнит, что рубаху и портки отдала, так скучно ей станет; а вспомнит, как он улыбнулся, и взыграет в ней сердце.

Долго не спала Матрена и слышит — Семен тоже не спит, кафтан на себя тащит.

— Семен!

— А!

— Хлеб-то последний поели, а я не ставила. На завтра, не знаю, как быть. Нечто у кумы Маланьи попрошу.

— Живы будем, сыты будем.

Полежала баба, помолчала.

— А человек, видно, хороший, только что ж он не сказывает про себя.

— Должно, нельзя.

— Сём!

— А!

— Мы-то даем, да что ж нам никто не дает?

Не знал Семен, что сказать. Говорит: «Будет толковать-то». Повернулся и заснул.

V

Наутро проснулся Семен. Дети спят, жена пошла к соседям хлеба занимать. Один вчерашний странник в старых портках и рубахе на лавке сидит, вверх смотрит. И лицо у него против вчерашнего светлее.

И говорит Семен:

— Чего ж, милая голова: брюхо хлеба просит, а голое тело одежи. Кормиться надо. Что работать умеешь?

— Я ничего не умею.

Подивился Семен и говорит:

— Была бы охота. Всему люди учатся.

— Люди работают, и я работать буду.

— Тебя как звать?

— Михаил.

— Ну, Михайла, сказывать про себя не хочешь — твое дело, а кормиться надо. Работать будешь, что прикажу, — кормить буду.

— Спаси тебя господь, а я учиться буду. Покажи, что делать.

Взял Семен пряжу, надел на пальцы и стал делать конец.

— Дело не хитрое, гляди...

Посмотрел Михайла, надел также на пальцы, тотчас перенял, сделал конец.

Показал ему Семен, как наваривать. Также сразу понял Михайла. Показал хозяин и как высучить щетинку и как тачать, и тоже сразу понял Михайла.

Какую ни покажет ему работу Семен, все сразу поймет, и с третьего дня стал работать, как будто век шил. Работает без разгиба, ест мало; переমেжится работа — молчит и все вверх глядит. На лицо не ходит, не говорит лишнего, не шутит, не смеется.

Только и видели раз, как он улыбнулся в первый вечер, когда ему баба ужинать собрала.

VI

День ко дню, неделя к неделе, вскружился и год. Живет Михайла по-прежнему у Семена, работает. И прошла про Семенова работника слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник Михайла, и стали из округи к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться.

Сидят раз по зиме Семен с Михайлой, работают, подъезжает к избе тройкой с колокольцами возок. Поглядели в окно: остановился возок против избы, соскочил молодец с облучка, отворил дверцу. Вылезает из возка в шубе барин. Вышел из возка, пошел к Семенову дому, вошел на крыльцо. Выскочила Матрена, распахнула дверь настежь. Нагнулся барин, вошел в избу, выпрямился, чуть головой до потолка не достал, весь угол захватил.

Встал Семен, поклонился и дивуется на барина. И не видывал он людей таких. Сам Семен поджарый и Михайла худощавый, а Матрена и вовсе как щепка сухая, а этот — как с другого света человек: морда красная, налитая, шея как у быка, весь как из чугуна вылит.

Отдулся барин, снял шубу, сел на лавку и говорит:

— Кто хозяин сапожник?

Вышел Семен, говорит:

— Я, ваше степенство.

Крикнул барин на своего малого:

— Эй, Федька, подай сюда товар.

Вбежал малый, внес узелок. Взял барин узел, положил на стол.

— Развяжи,— говорит. Развязал малый.

Ткнул барин пальцем товар сапожный и говорит Семену:

— Ну, слушай же ты, сапожник. Видишь товар?

— Вижу,— говорит,— ваше благородие.

— Да ты понимаешь ли, какой это товар?

Пощупал Семен товар, говорит:

— Товар хороший.

— То-то хороший! Ты, дурак, еще не видал товару такого. Товар немецкий, двадцать рублей плачен.

Заробел Семен, говорит:

— Где же нам видать.

— Ну, то-то. Можешь ты из этого товара на мою ногу сапоги сшить?

— Можно, ваше степенство.

Закричал на него барин:

— То-то «можно». Ты понимай, ты на кого шьешь, из какого товару. Такие сапоги мне шей, чтобы год носились, не кривились, не поролись. Можешь — берись, режь товар, а не можешь — и не берись и не режь товару. Я тебе наперед говорю: распорются, скривятся сапоги раньше году, я тебя в острог засажу; не скривятся, не распорются до году, я за работу десять рублей отдам.

Заробел Семен и не знает, что сказать. Оглянулся на Михайлу. Толкнул его локтем и шепчет:

— Брать, что ли?

Кивнул головой Михайла: «Бери, мол, работу».

Послушался Семен Михайлу, взялся такие сапоги сшить, чтобы год не кривились, не поролось.

Крикнул барин малого, велел снять сапог с левой ноги, вытянул ногу.

— Снимай мерку!

Сшил Семен бумажку в десять вершков, загладил, стал на коленки, руку об фартук обтер хорошенько, чтобы барский чулок не попачкать, и стал мерить. Обмерил Семен подошву, обмерил в подъеме; стал икру мерить, не сошлась бумажка. Ножища в икре как бревно толстая.

— Смотри, в голенище не обузь.

Стал Семен еще бумажку нашивать. Сидит барин, пошевеливает перстами в чулке, народ в избе оглядывает. Увядал Михайлу.

— Это кто ж,— говорит,— у тебя?

— А это самый мой мастер, он и шить будет.

— Смотри же,— говорит барин на Михайлу,— помни, так сшей, чтобы год проносились.

Оглянулся и Семен на Михайлу; видит — Михайла на барина и не глядит, а уставился в угол за барином, точно вглядывается в кого. Глядел, глядел Михайла и вдруг улыбнулся и просветлел весь.

— Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы к сроку готовы были.

И говорит Михайла:

— Как раз поспеют, когда надо.

— То-то.

Надел барин сапог, шубу, запахнулся и пошел к двери. Да забыл нагнуться, стукнулся в притолоку головой.

Разругался барин, потер себе голову, сел в возок и уехал.

Отъехал барин, Семен и говорит:

— Ну уж кремняст. Этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало. А Матрена говорит:

— С житья такого как им гладким не быть. Этакого заклепа и смерть не возьмет.

VII

И говорит Семен Михайле:

— Взять-то взяли работу, да как бы нам беды не нажить. Товар дорогой, а барин сердитый. Как бы не ошибиться. Ну-ка ты, у тебя и глаза повострее, да и в руках-то больше моего сноровки стало, на-ка мерку. Крои товар, а я головки дошивать буду.

Не послушался Михайла, взял товар барский, разостлал на столе, сложил вдвое, взял нож и начал кроить.

Подошла Матрена, глядит, как Михайла кроит, и дивится, что такое Михайла делает. Привыкла уж и Матрена к сапожному делу, глядит и видит, что Михайла не по-сапожному товар кроит, а на круглые вырезает.

Хотела сказать Матрена, да думает себе: «Должно, не поняла я, как сапоги барину шить; должно, Михайла лучше знает, не стану мешаться».

Скроил Михайла пару, взял конец и стал шивать не по-сапожному, в два конца, а одним концом, как босовики шьют.

Подивилась и на это Матрена, да тоже мешаться не стала. А Михайла все шьет. Стали полудновать, поднялся Семен, смотрит — у Михайлы из барского товару босовики сшиты.

Ахнул Семен. «Как это, думает, Михайла год целый жил, не ошибался ни в чем, а теперь беду такую наделал? Барин сапоги вытяжные на ранту заказывал, а он босовики сшил без подошвы, товар испортил. Как я теперь разделаюсь с бариним? Товару такого не найдешь».

И говорит он Михайле:

— Ты что же это, — говорит, — милая голова, наделал? Зарезал ты меня! Ведь барин сапоги заказывал, а ты что сшил?

Только начал он выговаривать Михайле — грох в кольцо у двери, стучится кто-то. Глянули в окно: верхом кто-то приехал, лошадь привязывает. Отперли: входит тот самый малый от барина.

— Здорово!

— Здорово. Чего надо?

— Да вот барыня прислала об сапогах.

— Что об сапогах?

— Да что об сапогах! сапог не нужно барину. Приказал долго жить барин.

— Что ты!

— От вас до дома не доехал, в возке и помер. Подъехала повозка к дому, вышли высаживать, а он как куль завалился, уж и заоченел, мертвый лежит, насилу из возка выпростали. Барыня и прислала, говорит: «Скажи ты сапожнику, что был, мол, у вас барин, сапоги заказывал и товар оставил, так скажи: сапог не нужно, а чтобы босовики на мертвого поскорее из товару сшил. Да дождись, пока сошьют, и с собой босовики привези». Вот и приехал.

Взял Михайла со стола обрезки товара, свернул трубкой, взял и босовики готовые, шелкнул друг об друга, обтер фартуком и подал малому. Взял малый босовики.

— Прощайте, хозяйева! Час добрый!

VIII

Прошел и еще год, и два, и живет Михайла уже шестой год у Семена. Живет по-прежнему. Никуда не ходит, лишнего не говорит и во все время только два раза улыбнулся: один раз, когда баба ему ужинать собрала, другой раз на барина. Не нарадуется Семен на своего работника. И не спрашивает его больше, откуда он; только одного боится, чтоб не ушел от него Михайла.

Сидят раз дома. Хозяйка в печь чугуны ставит, а ребята по лавкам бегают, в окна глядят. Семен тачает у одного окна, а Михайла у другого каблук набивает.

Подбежал мальчик по лавке к Михайле, оперся ему на плечо и глядит в окно.

— Дядя Михайла, глянь-ка, купчиха с девочками, никак, к нам идет. А девочка одна хромая.

Только сказал это мальчик, Михайла бросил работу, повернулся к окну, глядит на улицу.

И удивился Семен. То никогда не глядит на улицу Михайла, а теперь припал к окну, глядит на что-то. Поглядел и Семен в окно; видит — вправду идет женщина к его двору, одета чисто, ведет за ручки двух девочек в шубках, в платочках в ковровых. Девочки одна в одну, разузнать нельзя. Только у одной левая ножка попорчена — идет, припадает.

Вошла женщина на крыльцо, в сени, ощупала дверь, потянула за скобу — отворила. Пропустила вперед себя двух девочек и вошла в избу.

— Здорово, хозяйева!

— Просим милости. Что надо?

Села женщина к столу. Прижались ей девочки в колени, людей чудятся.

— Да вот девочкам на весну кожаные башмачки сшить.

— Что же, можно. Не шивали мы маленьких таких, да все можно. Можно рантовые, можно выворотные на холсте. Вот Михайла у меня мастер.

Оглянулся Семен на Михайлу и видит: Михайла работу бросил, сидит, глаз не сводит с девочек.

И подивился Семен на Михайлу. Правда, хороши, думает, девочки: черноглазенькие, пухленькие, румянькие, и шубки и платочки на них хорошие, а все не поймет Семен, что он так приглядывается на них, точно знакомые они ему.

Подивился Семен и стал с женщиной толковать — рядиться. Порядился, сложил мерку. Подняла себе женщина на колени хроменькую и говорит:

— Вот с этой две мерки сними; на кривенькую ножку один башмачок сшей, а на пряменькую три. У них ножки одинакие, одна в одну. Двойни они.

Снял Семен мерку и говорит на хроменькую:

— С чего же это с ней случилось? Девочка такая хорошая. Сроду, что ли?

— Нет, мать задавила.

Вступилась Матрена, хочется ей узнать, чья такая женщина и чьи дети, и говорит:

— А ты разве им не мать будешь?

— Я не мать им и не родня, хозяйюшка, чужие вовсе — приемьши.

— Не свои дети, а как жалеешь их!

— Как мне их не жалеть, я их обеих своею грудью выкормила. Свое было детище, да бог прибрал, его так не жалела, как их жалю.

— Да чьи же они?

IX

Разговорила женщина и стала рассказывать.

— Годов шесть,— говорит,— тому дело было, в одну неделю обмерли сиротки эти: отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. Остались обморушки эти от отца трех деньков, а мать и дня не прожила. Я в эту пору с мужем в крестьянстве жила. Соседи были, двор об двор жили. Отец их мужик одинокий был, в роце работал. Да уронили дерево как-то на него, его поперек прихватило, все нутро выдавило. Только довели, он и отдал богу душу, а баба его в ту

же неделю и роди двойню, вот этих девочек. Бедность, одиночество, одна баба была, — ни старухи, ни девчонки. Одна родила, одна и померла.

Пошла я наутро проведать соседку, прихожу в избу, а она, сердечная, уж и застыла. Да как помирала, завалилась на девочку. Вот эту задавила — ножку вывернула. Собрался народ — обмыли, спрятали, гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девчонки одни. Куда их деть? А я из баб одна с ребенком была. Первенького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла я их до времени к себе. Собрались мужики, думали, думали, куда их деть, и говорят мне: «Ты, Марья, поддержи покамест девчонок у себя, а мы, дай срок, их обдумаем». А я разок покормила грудью пряменькую, а эту раздавленную и кормить не стала: не чаяла ей живой быть. Да думаю себе, за что ангельская душка млеет? Жалко стало и ту. Стала кормить, да так-то одного своего да этих двух — троих грудью и выкормила! Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько бог дал в грудях было, что заляются, бывало. Двоих кормлю, бывало, а третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так-то бог привел, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше бог и детей не дал. А недостаток прибавляться стал. Вот теперь живем здесь на мельнице у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая. А детей нет. И как бы мне жить одной, кабы не девчонки эти! Как же мне их не любить! Только у меня и воску в свечке, что они!

Прижала к себе женщина одною рукой девочку хроменькую, а другою рукой стала со щек слезы стирать.

И вздохнула Матрена и говорит:

— Видно, пословица не мимо молвится: без отца, матери проживут, а без бога не проживут.

Поговорили они так промеж себя, поднялась женщина идти; проводили ее хозяева, оглянулись на Михайлу. А он сидит, сложивши руки на коленках, глядит вверх, улыбается.

Х

Подошел к нему Семен: что, говорит, ты, Михайла! Встал Михайла с лавки, положил работу, снял фартук, поклонился хозяину с хозяйкой и говорит:

— Простите, хозяева. Меня бог простил. Простите и вы.

И видят хозяева, что от Михайлы свет идет. И встал Семен, поклонился Михайле и сказал ему:

— Вижу я, Михайла, что ты не простой человек, и не могу я тебя держать, и не могу я тебя спрашивать. Скажи мне только одно: отчего, когда я нашел тебя и привел в дом, ты был пасмурен, и когда баба подала тебе ужинать, ты улыбнулся на нее и с тех пор стал светлее? Потом, когда барин заказывал сапоги, ты улыбнулся в другой раз и с тех пор стал еще светлее? И теперь, когда женщина приводила девочек, ты улыбнулся в третий раз и весь просветлел. Скажи мне, Михайла, отчего такой свет от тебя и отчего ты улыбнулся три раза?

И сказал Михайла:

— Оттого свет от меня, что я был наказан, а теперь бог простил меня. А улыбнулся я три раза оттого, что мне надо было узнать три слова божьи. И я узнал слова божьи; одно слово я узнал, когда твоя жена пожалела меня, и оттого я в первый раз улыбнулся. Другое слово я узнал, когда богач заказывал сапоги, и я в другой раз улыбнулся; и теперь, когда я увидел девочек, я узнал последнее, третье слово, и я улыбнулся в третий раз.

И сказал Семен:

— Скажи мне, Михайла, за что бог наказал тебя и какие те слова бога, чтобы мне знать.

И сказал Михайла:

— Наказал меня бог за то, что я ослушался его. Я был ангел на небе и ослушался бога.

Был я ангел на небе, и послал меня господь вынуть из женщины душу. Слетел я на землю, вижу: лежит одна жена — больна, родила двойню, двух девочек. Копошата девочки подле матери, и не может их мать к грудям взять. Увидала меня жена, поняла, что бог меня по душу послал, заплакала и говорит: «Ангел божий! мужа моего только схоронили, деревом в лесу убило. Нет у меня ни сестры, ни тетки, ни бабки, некому моих сирот взрастить. Не бери ты мою душеньку, дай мне самой детей вспоить, вскормить, на ноги поставить! Нельзя детям без отца, без матери прожить!» И послушал я матери, приложил одну девочку к груди, подал другую матери в руки и поднялся к господу на небо. Прилетел к господу и говорю: «Не мог я из родильницы души вынуть. Отца деревом убило, мать родила двойню и молит не брать из нее души, говорит: «Дай мне детей вспоить, вскормить, на ноги поставить. Нельзя детям без отца, без матери прожить». Не вынул я из родильницы душу». И сказал господь: «Поди вынь из родильницы душу и узнаешь три слова: узнаешь, что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы. Когда узнаешь, вернешься на небо». Полетел я назад на землю и вынул из родильницы душу.

Отпали младенцы от груди. Завалилось на кровати мертвое тело, придавило одну девочку, вывернуло ей ножку. Поднялся я над селом, хотел отнести душу богу, подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к богу, а я упал у дороги на землю.

XI

И поняли Семен с Матреной, кого они одели и накормили и кто жил с ними, и заплакали они от страха и радости.

И сказал ангел:

— Остался я один в поле и нагой. Не знал я прежде нужды людской, не знал ни холода, ни голода, и стал человеком. Проголодался, измерз и не знал, что делать. Увидал я — в поле часовня для бога сделана, подошел к божьей часовне, хотел в ней укрыться. Часовня заперта была замком, и войти нельзя было. И сел я за часовней, чтобы укрыться от ветра. Пришел вечер, проголодался я и застыл и изболел весь. Вдруг слышу: идет человек по дороге, несет сапоги, сам с собой говорит. И увидел я впервой смертное лицо человеческое после того, как стал человеком, и страшно мне стало это лицо, отвернулся я от него. И слышу я, что говорит сам с собой этот человек о том, как ему свое тело от стужи в зиму прикрыть, как жену и детей прокормить. И подумал: «Я пропадаю от холода и голода, а вот идет человек, только о том и думает, как себя с женой шубой прикрыть и хлебом прокормить. Нельзя ему помочь мне». Увидал меня человек, нахмурился, стал еще страшнее и прошел мимо. И отчаялся я. Вдруг слышу, идет назад человек. Взглянул я и не узнал прежнего человека: то в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице его я узнал бога. Подошел он ко мне, одел меня, взял с собой и повел к себе в дом. Пришел я в его дом, вышла нам навстречу женщина и стала говорить. Женщина была еще страшнее человека — мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти. Она хотела выгнать меня на холод, и я знал, что умрет она, если выгонит меня. И вдруг муж ее напомнил ей о боге, и женщина вдруг переменилась. И когда она подала нам ужинать, а сама глядела на меня, я взглянул на нее — в ней уже не было смерти, она была живая, и я и в ней узнал бога.

И вспомнил я первое слово бога: «Узнаешь, что есть в людях». И я узнал, что есть в людях любовь. И обрадовался я тому, что бог уже начал открывать мне то, что обещал, и улыбнулся в первый раз. Но всего не мог я узнать еще. Не мог я понять, чего не дано людям и чем люди живы.

Стал я жить у вас и прожил год. И приехал человек заказывать сапоги такие, чтобы год носились, не поролось, не кривились. Я взглянул на него и вдруг за плечами его увидел товарища своего, смертного ангела. Никто, кроме меня, не видал этого ангела, но я знал его и знал, что не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача. И подумал я: «Припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера». И вспомнил я другое слово бога: «Узнаешь, чего не дано людям».

Что есть в людях, я уже знал. Теперь я узнал, чего не дано людям. Не дано людям знать, чего им для своего тела нужно. И улыбнулся я в другой раз. Обрадовался я тому, что увидел товарища ангела, и тому, что бог мне другое слово открыл.

Но всего не мог я понять. Не мог еще я понять, чем люди живы. И все жил я и ждал, когда бог откроет мне последнее слово. И на шестом году пришли девочки-двойни с женщиной, и узнал я девочек, и узнал, как остались живы девочки эти. Узнал и подумал: «Просила мать за детей, и поверил я матери,— думал, что без отца, матери нельзя прожить детям, а чужая женщина вскормила, вырастила их». И когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидел живого бога и понял, чем люди живы. И узнал, что бог открыл мне последнее слово и простил меня, и улыбнулся я в третий раз.

ХII

И обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него; и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос. И сказал ангел:

— Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью.

Не дано было знать матери, чего ее детям для жизни нужно. Не дано было знать богачу, чего ему самому нужно. И не дано знать ни одному человеку — сапоги на живого или босовики ему же на мертвого к вечеру нужны.

Остался я жив, когда был человеком, не тем, что я сам себя обдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его и они пожалели и полюбили меня. Остались живы сироты не тем, что обдумали их, а тем, что была любовь в сердце чужой женщины и она пожалела, полюбила их. И живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.

Знал я прежде, что бог дал жизнь людям и хочет, чтобы они жили; теперь понял я еще и другое.

Я понял, что бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтоб они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно.

Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в боге и бог в нем, потому что бог есть любовь.

И запел ангел хвалу богу, и от голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и с детьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо.

И когда очнулся Семен, изба стояла по-прежнему, и в избе уже никого, кроме семейных, не было.

....

II

Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни — и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всюю душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые душевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной: *rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut*;¹ еще другого счастья она желала мне, — того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья — того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодения всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили.

Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы — художники, поэты. Наше призвание — учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, — в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я — художник, поэт — писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в

непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни говорили: мы — самые хорошие и полезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы — настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между нами людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Всё это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам — много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни — но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта — обман.

Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми, — от чина художника, поэта, учителя, — я не отрекся. Я наивно воображал, что я — поэт, художник, и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок — до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно, — возникает именно *то* самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших.

Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать — как можно скорее, как можно больше, что всё это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно, — мы не знаем, что ответить, мы все, не слушая друг друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с тем, чтоб и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекрикивая друг друга, точно так, как в сумасшедшем доме.

Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы всё еще больше и больше учили, учили и учили и никак не успевали всему научить, и всё сердились, что нас мало слушают.

Ужасно странно, но теперь мне понятно. Настоящим, задушевым рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали. Но для того, чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы — очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: всё, что существует, то разумно. Всё же, что существует, всё развивается. Развивается же всё посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты, и потому мы — самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили, — стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правыми.

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, — называл всех сумасшедшими, кроме себя.

Л.Н. Толстой, Много ли человеку земли нужно

I

Приехала из города старшая сестра к меньшей в деревню. Старшая за купцом была в городе, а меньшая за мужиком в деревне. Пьют чай сестры, разговаривают. Стала старшая сестра чваниться — свою жизнь в городе выхвалять: как она в городе просторно и чисто живет и ходит, как она детей наряжает, как она сладко ест и пьет и как на катанья, гулянья и в театры ездит.

Обидно стало меньшей сестре, и стала она купеческую жизнь унижать, а свою крестьянскую возвышать.

— Не променяю я,— говорит,— своего житья на твое. Даром что серо живем, да страху не знаем. Вы и почище живете, да либо много наторгуете, либо вовсе проторгуетесь. И пословица живет: барышу наклад — большой брат. Бывает и то: нынче богат, а завтра под окнами находишься. А наше мужицкое дело вернее: у мужика живот тонок, да долог, богаты не будем, да сыты будем.

Стала старшая сестра говорить:

— Сытость-то какая — со свиньями да с телятами! Ни убранства, ни обращенья! Как ни трудись твой хозяин, как живете в навозе, так и помрете, и детям то же будет.

— А что ж,— говорит меньшая, — наше дело такое. Зато твердо живем, никому не кланяемся, никого не боимся. А вы в городе все в соблазнах живете; нынче хорошо, а завтра подвернется нечистый — глядь, и соблазнит хозяина твоего либо на карты, либо на вино, либо на кралю какую. И пойдет все прахом. Разве не бывает?

Слушал Пахом — хозяин — на печи, что бабы балакают.

— Правда это,— говорит,— истинная. Как наш брат сызмальства ее, землю-матушку, переворачивает, так дурь-то в голову и не пойдет. Одно горе — земли мало! А будь земли вволю, так я никого, и самого черта, не боюсь!

Отпили бабы чай, побалакали еще об нарядах, убрали посуду, полегли спать.

А черт за печкой сидел, все слышал. Обрадовался он, что крестьянская жена на похвальбу мужа навела: похваляется, что, была б у него земля, его и черт не возьмет.

«Ладно, думает, поспорим мы с тобой; я тебе земли много дам. Землей тебя и возьму».

II

Жила рядом с мужиками барынька небольшая. Было у ней сто двадцать десятин земли. И жила прежде с мужиками смирно — не обижала. Да нанялся к ней солдат отставной в приказчики и стал донимать мужиков штрафами. Как ни бережется Пахом, а либо лошадь в овсы забежит, либо корова в сад забредет, либо телята в луга уйдут — за всё штраф.

Расплачивается Пахом и домашних ругает и бьет. И много греха от этого приказчика принял за лето Пахом. Уж и рад был, что скотина на двор стала,— хоть и жалко корму, да страху нет.

Прошел зимой слух, что продает барыня землю и что ладит купить ее дворник с большой дороги. Услыхали мужики, ахнули. «Ну, думают, достанется земля дворнику, замучает штрафами хуже барыни. Нам без этой земли жить нельзя, мы все у ней в кругу». Пришли мужики к барыне миром, стали просить, чтоб не продавала дворнику, а им отдала. Обещали дороже заплатить. Согласилась барыня. Стали мужики ладить миром всю землю купить; сбирались и раз и два на сходки — не сошлось дело. Разбивает их нечистый, никак не могут согласиться. И порешили мужики порознь покупать, сколько кто осилит. Согласилась и на это барыня. Услыхал Пахом, что купил у барыни двадцать десятин сосед и она ему половину денег на года рассрочила. Завидно стало

Пахому: «Раскупят, думает, всю землю, останусь я ни при чем». Стал с женой советовать.

— Люди покупают, надо,— говорит,— и нам купить десятин десяток. А то жить нельзя: одолел приказчик штрафами.

Обдумали, как купить. Было у них отложено сто рублей, да жеребенка продали, да пчел половину, да сына заложили в работники, да еще у свояка занял, и набралась половина денег.

Собрал Пахом деньги, облюбовал землю, пятнадцать десятин с лесочком, и пошел к барыне торговаться. Выторговал пятнадцать десятин, ударил по рукам и задаток дал. Поехали в город, купчую закрепили, деньги половину отдал, остальные в два года обязался выплатить.

И стал Пахом с землей. Занял Пахом семян, посеял покупную землю; родилось хорошо. В один год выплатил долг и барыне и свояку. И стал Пахом помещиком: свою землю пахал и сеял, на своей земле сено косил, со своей земли колья рубил и на своей земле скотину кормил. Выедет Пахом на свою вечную землю пахать или придет всходы и луга посмотреть — не нарадуется. И трава-то, ему кажется, растет, и цветы-то цветут на ней совсем иные. Бывало, проезжал по этой земле — земля как земля, а теперь совсем земля особенная стала.

III

Живет так Пахом, радуется. Все бы хорошо, только стали мужики у Пахома хлеб и луга травить. Честью просил, все не унимаются: то пастухи упустят коров в луга, то лошади из ночного на хлеба зайдут. И сгонял Пахом и прощал, все не судился, потом наскучило, стал в волостное жаловаться. И знает, что от тесноты, а не с умыслом делают мужики, а думает: «Нельзя же и спускать, этак они все вытравят. Надо поучить».

Поучил так судом раз, поучил другой, оштрафовали одного, другого. Стали мужики-соседи на Пахома сердце держать; стали другой раз и нарочно травить. Забрался какой-то ночью в лесок, десяток липок на лыки срезал. Проехал по лесу Пахом — глядь, белеется. Подъехал — лутошки брошены лежат, и пенушки торчат. Хоть бы из куста крайние срезал, одну оставил, а то подряд, злодей, все счистил. Обозлился Пахом: «Ах, думает, вызнать бы, кто это сделал; уж я бы ему выместил». Думал, думал, кто: «Больше некому, думает, как Семке». Пошел к Семке на двор искать, ничего не нашел, только поругались. И еще больше уверился Пахом, что Семен сделал. Подал прошение. Вызвали на суд. Судили, судили — оправдали мужика: улики нет. Еще пуще обиделся Пахом; с старшиной и с судьями разругался.

— Вы,— говорит,— воров руку тянете. Кабы сами по правде жили, не опраивляли бы воров.

Поссорился Пахом и с судьями и с соседями. Стали ему и красным петухом грозиться. Стало Пахому в земле жить просторней, а в миру теснее.

И прошел в то время слух, что идет народ на новые места. И думает Пахом: «Самому мне от своей земли идти незачем, а вот кабы из наших кто пошли, у нас бы просторнее стало. Я бы их землю на себя взял, себе в круг пригнал; житье бы лучше стало. А то все теснота».

Сидит раз Пахом дома, заходит мужик прохожий. Пустили ночевать мужика, покормили, разговорились — откуда, мол, бог несет? Говорит мужик, что идет снизу, из-за Волги, там в работе был. Слово за слово, рассказывает мужик, как туда народ селиться идет. Рассказывает, поселились там ихние, приписались в общество, и нарезали им по десять десятин на душу.

— А земля такая,— говорит,— что посеяли ржи, так солома — лошади не видать, а густая, что горстей пять — и сноп. Один мужик,— говорит,— совсем бедный, с одними руками пришел, а теперь шесть лошадей, две коровы.

Разгорелось у Пахома сердце. Думает: «Что ж тут в тесноте бедствовать, коли можно хорошо жить. Продам здесь и землю и двор; там я на эти деньги выстроюсь и заведение все заведу. А здесь в этой тесноте — грех один. Только самому все путем вызнать надо».

Собрался на лето, пошел. До Самары плыл по Волге вниз на пароходе, потом пеший верст четыреста прошел. Дошел до места. Все так точно. Живут мужики просторно, по десять десятин земли на душу нарезано, и принимают в общество с охотой. А коли кто с денежками, покупай, кроме надельной, в вечную, сколько хочешь, по три рубля самой первой земли; сколько хочешь, купить можно!

Разузнал все Пахом, вернулся к осени домой, стал все распродавать. Продал землю с барышом, продал двор свой, продал скотину всю, выписался из общества, дождался весны и поехал с семьей на новые места.

IV

Приехал Пахом на новые места с семейством, приписался в большое село в общество. Попоил стариков, бумаги все выправил. Приняли Пахома, нарезали ему на пять душ надельной земли пятьдесят десятин в разных полях, кроме выгона. Построился Пахом, скотину завел. Земли у него одной душевой против прежнего втрое стало. И земля хлебородная. Житье против того, что на старине было, вдесятеро лучше. И пахотной земли и кормов вволю. Скотины сколько хочешь держи.

Сначала, покуда строился да заводился, хорошо показалось Пахому, да обжился — и на этой земле тесно показалось. Посеял первый год Пахом пшеницу на душевой — хороша уродилась. Разохотился он пшеницу сеять, а душевой земли мало. И какая есть — не годится. Пшеницу там на ковыльной или залежной земле сеют. Посеют год, два и запускают, пока опять ковылем прорастет. А на такую землю охотников много, на всех и не хватает. Тоже из-за нее споры; побогаче кто — хотят сами сеять, а бедняки отдают купцам за подати. Захотел Пахом побольше посеять. Поехал на другой год к купцу, купил земли на год. Посеял побольше — родилось хорошо; да далеко от села — верст за пятнадцать возить надо. Видит — в округе купцы-мужики хуторами живут, богатеют. «То ли дело,— думает Пахом,— коли бы тоже в вечность землицы купить да построить хутор. Все бы в кругу было». И стал подумывать Пахом, как бы земли в вечность купить.

Прожил так Пахом три года. Снимал землю, пшеницу сеял. Года вышли хорошие, и пшеница хороша рожалась, и деньги залежные завелись. Жить бы да жить, да скучно показалось Пахому каждый год в людях землю покупать, из-за земли воловодиться: где хорошенькая земля есть, сейчас налетят мужики, всю разберут; не поспел укупить, и не на чем сеять. А то купил на третий год с купцом пополам выгон у мужиков; и вспахали уж, да засудились мужики, так и пропала работа. «Кабы своя земля была, думает, никому бы не кланялся, и греха бы не было».

И стал Пахом разузнавать, где купить земли в вечность. И попал на мужика. Были куплены у мужика пятьсот десятин, да разорился он и продает задешево. Стал Пахом ладить с ним. Толковал, толковал — сладился за тысячу пятьсот рублей, половину денег обождать. Совсем уж было поладили, да заезжает раз к Пахому купец проезжий на двор покормить. Попили чайку, поговорили. Рассказывает купец, что едет он из дальних башкир. Там, рассказывает, купил у башкирцев земли тысяч пять десятин. И стало всего тысяча рублей. Стал спрашивать Пахом. Рассказал купец.

— Только,— говорит,— стариков убоготворил. Халатов, ковров раздарил рублей на сто, да цибик чаю, да попоил винцом, кто пьет. И по двадцать копеек за десятину взял. — Показывает купчую. — Земля,— говорит,— по речке, и степь вся ковыльная.

Стал расспрашивать Пахом, как и что.

— Земли,— говорит купец,— там не обойдешь и в год: все башкирская. А народ несмышленный, как бараны. Можно почти даром взять.

«Ну,— думает Пахом,— что ж мне за мои тысячу рублей пятьсот десятин купить да еще долг на шею забрать. А тут я за тысячу рублей чем завладаю!»

V

Расспросил Пахом, как проехать, и только проводил купца, собрался сам ехать. Оставил дом на жену, сам собрался с работником, поехал. Заехали в город, купили чаю цибик, подарков, вина — все, как купец сказал. Ехали, ехали, верст пятьсот отъехали. На седьмые сутки приехали на башкирскую кочевку. Все так, как купец говорил. Живут все в степи, над речкой, в кибитках войлочных. Сами не пахут и хлеба не едят. А в степи скотина ходит и лошади косяками. За кибитками жеребята привязаны, и к ним два раза в день маток пригоняют; кобылье молоко доят и из него кумыс делают. Бабы кумыс болтают и сыр делают, а мужики только и знают — кумыс и чай пьют, баранину едят да на дудках играют. Гладкие все, веселые, все лето празднуют. Народ совсем темный, и по-русски не знают, а ласковый.

Только увидели Пахома, повышли из кибиток башкирцы, обступили гостя. Нашелся переводчик. Сказал ему Пахом, что он об земле приехал. Обрадовались башкирцы, подхватили Пахома, свели его в кибитку хорошую, посадили на ковры, подложили под него подушек пуховых, сели кругом, стали угощать чаем, кумысом. Барана зарезали и бараниной накормили. Достал Пахом из тарантаса подарки, стал башкирцам раздавать. Одарил Пахом башкирцев подарками и чай разделил. Обрадовались башкирцы. Лопотали, лопотали промеж себя, потом велели переводчику говорить.

— Велят тебе сказать,— говорит переводчик,— что они полюбили тебя и что у нас обычай такой — гостю всякое удовольствие делать и за подарки отдаривать. Ты нас одарил; теперь скажи, что тебе из нашего полюбится, чтоб тебя отдарить?

— Полюбилась мне,— говорит Пахом,— больше всего у вас земля. У нас,— говорит,— в земле теснота, да и земля выпаханная, а у вас земли много и земля хороша. Я такой и не видывал.

Передал переводчик. Поговорили, поговорили башкирцы. Не понимает Пахом, что они говорят, а видит, что веселы, кричат что-то, смеются. Затихли потом, смотрят на Пахома, а переводчик говорит:

— Велят,— говорит,— они тебе сказать, что за твое добро рады тебе сколько хочешь земли отдать. Только рукой покажи какую — твоя будет.

Поговорили они еще и что-то спорить стали. И спросил Пахом, о чем спорят. И сказал переводчик:

— Говорят одни, что надо об земле старшину спросить, а без него нельзя. А другие говорят, и без него можно.

VI

Спорят башкирцы, вдруг идет человек в шапке лисьей. Замолчали все и встали. И говорит переводчик:

— Это старшина самый.

Сейчас достал Пахом лучший халат и поднес старшине и еще чаю пять фунтов. Принял старшина и сел на первое место. И сейчас стали говорить ему что-то башкирцы. Слушал, слушал старшина, кивнул головой, чтоб они замолчали, и стал говорить Пахому по-русски.

— Что ж,— говорит,— можно. Бери, где полюбится. Земли много.

«Как же я возьму, сколько хочу,— думает Пахом.— Надо же как ни есть закрепить. А то скажут твоя, а потом отнимут».

— Благодарим вас,— говорит,— на добром слове. Земли ведь у вас много, а мне немножко надо. Только бы мне знать, какая моя будет. Уж как-нибудь все-таки отмерять да закрепить за мной надо. А то в смерти-животе бог волен. Вы, добрые люди, даете, а придется — дети ваши отнимут.

— Правда твоя,— говорит старшина,— закрепить можно.

Стал Пахом говорить:

— Я вот слышал, у вас купец был. Вы ему тоже землицы подарили и купчую сделали; так и мне бы тоже.

Все понял старшина.

— Это все можно,— говорит. — У нас и писарь есть, и в город поедem, и все печати приложим.

— А цена какая будет? — говорит Пахом.

— Цена у нас одна: тысяча рублей за день.

Не понял Пахом.

— Какая же это мера — день? Сколько в ней десятин будет?

— Мы этого,— говорит,— не умеем считать. А мы за день продаем; сколько обойдешь в день, то и твое, а цена дню тысяча рублей.

Удивился Пахом.

— Да ведь это,— говорит,— в день обойти, земли много будет.

Засмеялся старшина.

— Вся твоя!— говорит. — Только один уговор: если назад не придешь в день к тому месту, с какого возьмешься, пропали твои деньги.

— А как же,— говорит Пахом,— отметить, где я пройду?

— А мы станем на место, где ты облюбуеть, мы стоять будем, а ты иди, делай круг; а с собой скрепку возьми и, где надобно, замечай, на углах ямки рой, дернички клади, потом с ямки на ямку плугом проедem. Какой хочешь круг забирай, только до захода солнца приходи к тому месту, с какого взялся. Что обойдешь, все твое.

Обрадовался Пахом. Порешили наперед выезжать. Потолковали, попили еще кумысу, баранины поели, еще чаю напились; стало дело к ночи. Уложили Пахома спать на пуховике, и разошлись башкирцы. Обещались завтра на зорьке собраться, до солнца на место выехать.

VII

Лег Пахом на пуховики, и не спится ему, все про землю думает. «Отхвачу, думает, палестину большую. Верст пятьдесят обойду в день-то. День-то нынче что год; в пятидесяти верстах земли-то что будет. Какую похуже — продам или мужиков пушу, а любенькую отберу, сам на ней сяду. Плуга два быков заведу, человека два работников принайму; десятинок полсотни пахать буду, а на остальной скотину нагуливать стану».

Не заснул всю ночь Пахом. Перед зарей только забылся. Только забылся — и видит он сон. Видит он, что лежит будто он в этой самой кибитке и слышит — наружу гогочет кто-то. И будто захотелось ему посмотреть, кто такой смеется, и встал он, вышел из кибитки и видит — сидит тот самый старшина башкирский перед кибиткой, за живот ухватился обеими руками, закатывается, гогочет на что-то. Подошел он и спросил: «Чему смеешься?» И видит он, будто это не старшина башкирский, а купец намеднишний, что к ним заезжал, об земле рассказывал. И только спросил у купца: «Ты давно ли тут?» — а это уж и не купец, а тот самый мужик, что на старине снизу заходил. И видит Пахом, что будто и не мужик это, а сам дьявол, с рогами и с копытами, сидит, хохочет, а перед ним лежит человек босиком, в рубахе и портках. И будто поглядел

Пахом пристальней, что за человек такой? И видит, что человек мертвый и что это — он сам. Ужаснулся Пахом и проснулся. Проснулся. «Чего не приснится», — думает. Огляделся; видит в открытую дверь — уж бело становится, светать начинается. «Надо, думает, будить народ, пора ехать». Поднялся Пахом, разбудил работника в тарантасе, велел запрягать и пошел башкирцев будить.

— Пора,— говорит,— на степь ехать, отмерять.

Повставали башкирцы, собрались все, и старшина пришел. Зачали башкирцы опять кумыс пить, хотели Пахома угостить чаем, да не стал он дожидаться.

— Коли ехать, так ехать,— говорит,— пора.

VIII

Собрались башкирцы, сели — кто верхами, кто в тарантасы, поехали. А Пахом с работником на своем тарантасике поехали и с собой скребку взяли. Приехали в степь, заря занимается. Въехали на бугорок, по-башкирски — на шихан. Вылезли из тарантасов, послезали с лошадей, сошлись в кучку. Подошел старшина к Пахому, показал рукой.

— Вот,— говорит,— вся наша, что глазом окинешь. Выбирай любую.

Разгорелись глаза у Пахома: земля вся ковыльная, ровная как ладонь, черная как мак, а где лошадка — так разнотравье, трава по груди.

Снял старшина шапку лисью, поставил на землю.

— Вот,— говорит,— метка будет. Отсюда пойдешь, сюда приходи. Что обойдешь, все твое будет.

Вынул Пахом деньги, положил на шапку, снял кафтан, в одной поддевке остался, перепопоясался потуже под брюхо кушаком, подтянулся; сумочку с хлебом за пазуху положил, баклажку с водой к кушаку привязал, подтянул голенища, взял скребку у работника, собрался идти. Думал, думал, в какую сторону взять,— везде хорошо. Думает: «Все одно: пойду на восход солнца». Стал лицом к солнцу, размялся, ждет, чтобы показалось оно из-за края. Думает: «Ничего времени пропускать не стану. Холодком и идти легче». Только брызнуло из-за края солнце, вскинул Пахом скребку на плечо и пошел в степь.

Пошел Пахом ни тихо, ни скоро. Отошел с версту; остановился, вырыл ямку и дернички друг на дружку положил, чтоб приметней было. Пошел дальше. Стал разминаться, стал и шаг прибавлять. Отошел еще, вырыл еще другую ямку.

Оглянулся Пахом. На солнце хорошо видно шихан, и народ стоит, и у тарантасов на колесах шины блестят. Угадывает Пахом, что верст пять прошел. Согреться стал, снял поддевку, вскинул на плечо, пошел дальше. Отошел еще верст пять. Тепло стало. Взглянул на солнышко — уж время об завтраке.

«Одна упряжка прошла,— думает Пахом. — А их четыре в дню, рано еще заворачивать. Дай только разуюсь». Присел, разулся, сапоги за пояс, пошел дальше. Легко идти стало. Думает: «Дай пройду еще верст пяток, тогда влево загибать стану. Место-то хорошо очень, кидать жалко. Что дальше, то лучше». Пошел еще напрямик. Оглянулся — шихан уж чуть видно, и народ, как мураши, на нем чернеется, и чуть блестит что-то.

«Ну,— думает Пахом,— в эту сторону довольно забрал; надо загибать. Да и разопрел — пить хочется». Остановился, вырыл ямку побольше, положил дернички, отвязал баклажку, напился и загнул круто влево. Шел он, шел, трава пришла высокая, и жарко стало.

Стал Пахом уставать; поглядел он на солнышко, видит — самый обед. «Ну, думает, отдохнуть надо». Остановился Пахом, присел. Поел хлебца с водой, а ложиться не стал: думает — ляжешь, да и заснешь. Посидел немного, пошел дальше. Сначала легко пошел.

От еды силы прибавилось. Да уж жарко очень стало, да и сон клонить стал; однако все идет, думает — час терпеть, а век жить.

Прошел еще и по этой стороне много, хотел уж загигать влево, да глядь — лощинка подошла сырая; жаль бросать. Думает: «Лен тут хорош уродится». Опять пошел прямо. Захватил лощину, выкопал ямку за лощиной, загнул второй угол. Оглянулся Пахом на шихан: от тепла затуманилось, качается что-то в воздухе и сквозь мару чуть виднеются люди на шихане — верст пятнадцать до них будет. «Ну,— думает Пахом,— длинны стороны взял, надо эту покороче взять». Пошел третью сторону, стал шагу прибавлять. Посмотрел на солнце — уж оно к полднику подходит, а по третьей стороне всего версты две прошел. И до места все те же верст пятнадцать. «Нет, думает, хоть кривая дача будет, а надо прямиком поспевать. Не забрать бы лишнего. А земли и так уж много». Вырыл Пахом поскорее ямку и повернул прямиком к шихану.

IX

Идет Пахом прямо на шихан, и тяжело уж ему стало. Разопрел и ноги босиком изрезал и отбил, да и подкашиваться стали. Отдохнуть хочется, а нельзя,— не успеешь дойти до заката. Солнце не ждет, все спускается да спускается. «Ах, думает, не ошибся ли, не много ли забрал? Что, как не успеешь?» Взглянет вперед на шихан, взглянет на солнце: до места далеко, а солнце уж недалеко от края.

Идет так Пахом, трудно ему, а все прибавляет да прибавляет шагу. Шел, шел — все еще далеко; побежал рысью. Бросил поддевку, сапоги, баклажку, шапку бросил, только скребку держит, ей попирается. «Ах, думает, позарился я, все дело погубил, не добегу до заката». И еще хуже ему от страха дух захватывает. Бежит Пахом, рубаха и портки от пота к телу липнут, во рту пересохло. В груди как мехи кузнечные раздуваются, а в сердце молотком бьет, и ноги как не свои — подламываются. Жутко стало Пахому, думает: «Как бы не помереть с натуги».

Помереть боится, а остановиться не может. «Столько, думает, пробежал, а теперь остановиться — дураком назовут». Бежал, бежал, подбегает уж близко и слышит: визжат, гайкают на него башкирцы, и от крика ихнего у него еще пуще сердце разгорается. Бежит Пахом из последних сил, а солнце уж к краю подходит, в туман зашло: большое, красное, кровавое стало. Вот-вот закатываться станет. Солнце близко, да и до места уж вовсе не далеко. Видит уж Пахом, и народ на шихане на него руками махает, его подгоняют. Видит шапку лисью на земле и деньги на ней видит; видит и старшину, как он на земле сидит, руками за пузо держится. И вспомнился Пахому сон. «Земли, думает, много, да приведет ли бог на ней жить. Ох, погубил я себя, думает, не добегу».

Взглянул Пахом на солнце, а оно до земли дошло, уж краешком заходить стало и дугой к краю вырезалось. Наддал из последних сил Пахом, навалился наперед телом, насили ноги поспевают подставляться, чтоб не упасть. Подбежал Пахом к шихану, вдруг темно стало. Оглянулся — уж зашло солнце. Ахнул Пахом. «Пропали, думает, мои труды». Хотел уж остановиться, да слышит, гайкают всё башкирцы, и вспомнил он, что снизу ему кажется, что зашло, а с шихана не зашло еще солнце. Надулся Пахом, взбежал на шихан. На шихане еще светло. Взбежал Пахом, видит — шапка. Перед шапкой сидит старшина, гогочет, руками за пузо держится. Вспомнил Пахом сон, ахнул, подкосились ноги, и упал он наперед, руками до шапки достал.

— Ай, молодец! — закричал старшина. — Много земли завладел!

Подбежал работник Пахомов, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый лежит.

Поцелкали языками башкирцы, пожалели.

Поднял работник скребку, выкопал Пахому могилу, ровно насколько он от ног до головы захватил — три аршина, и закопал его.

Лев Николаевич Толстой

Отец Сергей

I

В Петербурге в сороковых годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его; для самого же князя Степана Касатского все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе.

Отец Степана Касатского, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было двенадцать лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники.

Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб: целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его наверно бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома.

Восемнадцати лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель-адъютантство. И Касатский сильно желал этого не только из честолюбия, но, главное, потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно, любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, -- а он часто ездил к ним, -- когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпяченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами, фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касатский испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее: хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней

истории Касатского с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касатскому, но, когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал:

-- Знайте, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь.

Он показал на сердце.

Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтоб они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касатский, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами.

Когда Касатский вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касатский отдал сестре половину состояния, и то, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил.

С внешней стороны Касатский казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная забота. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но, в сущности, все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это ученье, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским, как русским; так он потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично играть.

Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, и как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока по достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться, и для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги, и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им.

Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из четырех сортов людей: из 1) людей богатых и придворных; из 2) небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе; 3) из богатых людей, подделывающихся к

придворным, и 4) из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касатский не принадлежал к первым, Касатский был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света -- и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидел, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой; с ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои и он не свой. И Касатский захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, -- и он дожидался этого, -- или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касатский не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой, она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе.

Касатский сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери и дочери. Он был очень влюблен, и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича.

II

За две недели до назначенного дня свадьбы Касатский сидел в Царском Селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касатский принадлежал к тем людям сороковых годов, которых уже нет нынче, к людям, которые, сознательно допуская для себя и внутренне не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распушенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе дружку самку, -- такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое боготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касатский и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте, напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недостижимое.

Он встал во весь свой большой, рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю.

-- Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, -- сказал он, робко улыбаясь, -- дала мне это!

Он был в том периоде, когда "ты" еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить "ты" этому ангелу.

-- Я себя узнал: благодаря... тебе, узнал, что я лучше, чем я думал.

-- Я давно это знаю. Я за то-то и полюбила вас...

Соловей защелкал вблизи, свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка.

Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел.

-- Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно, я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердись на меня за это?

Она не отвечала и только тронула рукой его руку.

Он понял, что это значило: "Нет, не сержусь".

-- Да, ты вот сказала... -- он замялся, ему показалось это слишком дерзко, -- ты сказала, что полюбила меня, но, прости меня, я верю, но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?

"Да, теперь или никогда, -- подумала она. -- Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно!"

И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая и, если бы не императорство, не променяла бы этого на того.

-- Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила.

Она положила свою руку на его умоляющим жестом.

Он молчал.

-- Вы хотите знать кого? Да, его, государя.

-- Мы все любим его, я воображаю, вы в институте...

-- Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать...

-- Ну, так что же?

-- Нет, я не просто.

Она закрыла лицо руками.

-- Как? Вы отдались ему?

Она молчала.

-- Любовницей?

Она молчала.

Он вскочил и бледный, как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его.

-- Боже мой, что я сделала, Стива!

-- Не трогайте, не трогайте меня. О, как больно!

Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать.

-- Вы что, князь? Я... -- Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо.

-- Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщины, -- вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею, и, повернувшись, убежал.

Если б тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь.

На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню.

Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом.

Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание Бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его.

Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри (невесте), которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? -- к Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем.

III

В день Покрова Касатский поступил в монастырь.

Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного

старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касатский.

Кроме того чувства сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касатский в монастыре, Касатский так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, как и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным; трудящимся всегда, воздержным, смиренным, кротким, чистым, не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, или совершенство, облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемом, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием: не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание, будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнения в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братии, но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. "Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них". Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища -- молитва церковная -- для поддержания духовной жизни. Он верил в это, и действительно, служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давало сознание смирения и несомненности поступков, всех определенных старцем. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал в монастырь и не жалел его, лени у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касатский радовался, что был свободен от него.

Мучало его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покаявшуюся жену.

В хорошие минуты Касатского не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним, он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание и -- ужасно сказать -- раскаяние в своем обращении охватывало его.

Спасенье в этом положении было послушание -- работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касатский чувствовал, что

он не в своей и не в Божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще за все это время Касатский жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послушании было особенное спокойствие.

Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался; теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии

приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка.

Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться все то, чего надо было достигнуть, -- он достиг, и больше делать было нечего.

Но зато состояние усыпления становилось все сильнее и сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни.

На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь; Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь.

Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это.

В прежнем монастыре соблазн женский мало мучил Сергия, здесь же соблазн этот поднялся с страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать в Сергии. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергей отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоря стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний.

Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергей, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось.

Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всенощная шла в большой церкви. Много было приезжего

народа. Служил сам игумен. Отец Сергей стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время службы, особенно в большой церкви, когда он служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось: не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов -- часто его даже и известного красавца монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих; не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитв, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы.

Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда ризничий, -- отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия, -- Никодим, которого он невольно упрекал в поддельванье и лести к игумну, -- подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергей обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу.

-- Lise, regardez à droite, c'est liu [*Лица, взгляни направо, это он*], -- послышался ему женский голос.

-- Où, où? Il n'est pas tellement beau. [*Где, где? Он не так уж красив.*]

Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда в минуты искушений, твердил слова: "И не введи нас во искушение", -- и, опустив голову и глаза, прошел мимо амвона и, обойдя канонархов в стихарях, проходивших в это время мимо иконостаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он, по обычаю, крестно поклонился, перегибаясь надвое, перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигуру рядом с другой блестящей чем-то фигурой он видел углом глаза, не обращаясь к ним.

Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом и растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундира с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергей своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка.

Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергей тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия, и чувство это еще усилилось, когда он услышал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был лужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала увидеть своего прежнего сослуживца как он выразился.

-- Очень рад видеть в ангельском образе, -- сказал генерал, протягивая руку... -- надеюсь, что вы не забыли старого товарища.

Все лицо игумна, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхолощенное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина

изо рта генерала и сигар от его бакенбард -- все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумну и сказал:

-- Ваше преподобие изволили звать меня? -- И он остановился, всем выражением лица и позы спрашивая: зачем?

Игумен сказал:

-- Да, повидаться с генералом.

-- Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов, -- сказал он, бледнея и с трясущимися губами. -- За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме Божиим.

-- Иди, иди, -- вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен.

На другой день отец Сергий просил прощения у игумна и братии за свою гордость, но вместе с тем, после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца. И каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла оттого, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради Бога, а ради своей гордости, что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. Я всем пренебрег для Бога, а меня показывают, как зверя. "Если бы ты пренебрег славой для Бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе Бог внушил мне: Живи по-прежнему и покорись. В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни затворник Илларион. Он жил там восемнадцать лет. Игумен тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Илларионову келью. Не то, чтобы ты мог заменить Иллариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя Бог".

Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь.

В Тамбинской пустыни настоятель, прекрасный хозяин, из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Иллариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Илларион. В задней пещере был похоронен Илларион, в ближней была ниша для спанья, с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка; на эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря.

И отец Сергий стал затворником.

На масленице шестого года жизни Сергия в затворе из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая -- помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена, красавица, богачка и чудака, удивлявшая и мутившая город своими выходками.

Погода была прекрасная, дорога -- как пол. Проехали верст десять за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше.

-- Да куда ведет эта дорога? -- спросила Маковкина, разводная жена, красавица.

-- В Тамбино, отсюда двенадцать верст, -- сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной.

-- Ну, а потом?

-- А потом на Л. через монастырь.

-- Там, где отец Сергей этот живет?

-- Да.

-- Касатский? Этот красавец пустынный?

-- Да.

-- Медам! Господа! Едемте к Касатскому. В Тамбине отдохнем, закусим.

-- Но мы не успеем ночевать домой.

-- Ничего, ночуем у Касатского. -- Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина.

-- Нет, я у Касатского буду ночевать.

-- Ну, уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.

-- Невозможно? Пари.

-- Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.

-- A discrétion. [*По усмотрению.*]

-- А вы тоже!

-- Ну да. Едемте.

Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, -- и залились колокольчики, и завизжали полозья.

Сани чуть подрагивали и покачивались, пристяжная ровно и весело скакала с своим круто подвязанным хвостом над наборной шлеей, ровная, масляная дорога быстро убегала назад, ямщик ухарски пошевеливал вожжами, адвокат, офицер, сидя напротив, что-то ввали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу,

сидела неподвижно и думала: "Все одно и то же, и все гадкое: красные, глянцевиные лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Я не могу. Мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, что бы все это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да, наверное, подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя. Но я, по крайней мере, хороша. Они-то знают это. Ну, а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают. Как осенью с этим кадетом. И какой он дурак был..."

-- Иван Николаич! -- сказала она.

-- Что прикажете?

-- Да ему сколько лет?

-- Кому?

-- Да Касатскому.

-- Кажется, лет за сорок.

-- И что же, он принимает всех?

-- Всех, но не всегда.

-- Закройте мне ноги. Не так. Какой вы неловкий! Ну, еще, еще, вот так. А ног моих жать не нужно.

Так они доехали до леса, где стояла келья.

Она вышла и велела им уехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она, в своей белой собачьей шубе, пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.

V

Отец Сергей жил шестой год в затворе. Ему было сорок девять лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. Источников борьбы было два: сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь.

"Боже мой! Боже мой! -- думал он. -- За что не даешь ты мне веры. Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера. Они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть. -- Сказал он себе и ужаснулся, омерзился на самого себя. -- Гадина! Гадина! Хочешь быть святым", -- начал он бранить себя. И стал на молитву. Но только что он начал молиться,

как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, и мантии, величественном виде. И он покачал головой. "Нет, это не то. Это обман. Но других я обману, а не себя и не Бога. Не величественный я человек, а жалкий, смешной". И он откинул полы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыбнулся.

Потом он опустил полы и стал читать молитвы, креститься и кланяться. "Неужели одр сей мне гроб будет?" -- читал он. И как бы дьявол какой шепнул ему: "Одр одинокий и то гроб. Ложь". И он увидел в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он исто твердил и знал наизусть: "Верую, Господи, помоги моему неверию". Он убрал назад все выступающие сомнения. Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющейся ножке и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву: "Господи, возьми, возьми меня", -- и ему не только легко, но радостно-умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою подстилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчик. Он не знал, наяву ли это было или во сне. Но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе. Но стук повторился. Да, это был стук близкий, в его двери, и женский голос.

"Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины... Да, это голос женщины. И голос нежный, робкий и милый! Тьфу! -- он плюнул. -- Нет, мне кажется", -- сказал он и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колена тем привычным правильным движением, в котором, в движении в самом, он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо, и прижал оголявшийся уже лоб к сырой, холодной полосушке. (В полу дуло.)

...читал он псалом, который, ему говорил старичок отец Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтобы слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадущку, поставленную под угол. На дворе была мга, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг зашуршало у окна, и явственно голос -- тот же нежный робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил:

-- Пустите. Ради Христа...

Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. "Да воскреснет Бог и расточатся врази..."

-- Да я не дьявол... -- и слышно было, что улыбались уста, говорившие это. -- Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась -- не в переносном, а в прямом смысле (она засмеялась), замерзла и прошу приюта...

Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она. Да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, милым, добрым испуганным лицом, тут, в двух вершках от его лица, пригнувшись к

нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было.

-- Кто вы? Зачем вы? -- сказал он.

-- Да отоприте же, -- с капризным самовластьем сказала она. -- Я замерзла. Говорю вам, заблудилась.

-- Да ведь я монах, отшельник.

-- Ну, так и отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под окном, пока вы будете молиться.

-- Да как вы...

-- Не съем же я вас. Ради Бога пустите. Я озлябла наконец.

Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом.

Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. "Господи, помоги мне, Господи помоги мне", -- проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенцы. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. "Ай!" -- вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекшую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.

-- Да что же вы, пустите же. Я вся измокла. Я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла.

Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь внаружу так, что толкнул ее.

-- Ах, извините! -- сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее, привычное обращение с дамами.

Она улыбнулась, услышав это "извините". "Ну, он не так еще страшен", -- подумала она.

-- Ничего, ничего. Вы простите меня, -- сказала она, проходя мимо его. -- Я бы никогда не решилась. Но такой особенный случай.

-- Пожалуйста, -- проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах, давно не слышанный им, тонких духов поразил его. Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу.

"Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи, помилуй мя грешного", -- не переставая молился он не только внутренне, но и невольно наружно шевеля губами.

-- Пожалуйста, -- сказал он.

Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись.

-- Простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но видите, в каком я положении. Произошло это оттого, что мы из города послали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города, но тут сбилась с дороги и вот, если бы не набрела на вашу келью... -- начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его. Но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее.

Он видел, что она лжет.

-- Да, так, -- сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. -- Я пройду сюда, а вы располагайтесь.

И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. "Вероятно, запирается чем-нибудь от меня", -- подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтоб он пустил ее. Но у двери она, точно, попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок и ботик полон воды. Она села на его койку -- доску, только покрытую ковриком, -- и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она сидела, над ней полочка с книгами. В углу аналойчик. У двери гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно: маслом, потом и землей. Все нравилось ей. Даже этот запах.

Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутила его -- этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. "Ну, не ответил, ну что же за беда", -- сказала она себе.

-- Отец Сергей! Отец Сергей! Так ведь вас звать?

-- Что вам надо? -- отвечал тихий голос.

-- Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед.

-- Простите меня, -- отвечал тихий голос, -- я ничем не могу служить.

-- Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета.

Он не отвечал. И она слышала, что он шепчет что-то, -- очевидно, молится.

-- Вы не взойдете сюда? -- спросила она улыбаясь. -- А то мне надо раздеться, чтобы высушиться.

Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы.

"Да, это человек", -- думала она, с трудом стаскивая шлепающий ботик. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него, и именно так, как она этого хотела.

"Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза. И это простое, благородное и - как он ни бормочи молитвы -- и страстное лицо! -- думала она. -- Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал", -- говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила:

-- Не входите.

Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения. "Верно, он кланяется в землю, -- думала она. -- Но не отклоняется он, -- проговорила она. -- Он обо мне думает. Так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах", -- говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. "Да эта пустыня, эта тишина. И никто никогда не узнал бы..."

Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было два часа. "Наши должны подъехать около трех". Оставалось не больше часа.

"Что ж, я так просижу тут одна. Что за вздор? Не хочу я. Сейчас позову его".

-- Отец Сергей! Отец Сергей! Сергей Дмитрич. Князь Касатский!

За дверью было тихо.

-- Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас. Если бы мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мной, -- заговорила она страдающим голосом. -- Ох, ох! -- застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка.

-- Послушайте, помогите мне. Я не знаю, что со мной. Ох! Ох! -- Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. -- Ох, ох!

Все это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа, и творил умную Молитву, духом повторяя: "Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя".

Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу; он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому не переставая молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти не оглядываясь. Так и Сергей слышал,

чуял, что опасность, гибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала:

-- Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть.

"Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет". Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг -- он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. "Нет, я не могу этого".

-- Ради Бога! Ох, подите ко мне! Я умираю, ох!

"Так, что же, я погибну? Так нет же".

-- Сейчас я приду к вам, -- проговорил он и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене.

-- Сейчас, -- сказал он и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и, ударил по нему ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем, отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на кран чурбана и потом на пол.

Он услышал этот звук прежде, чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил:

-- Что вам?

Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее.

-- Да, мне было больно... я простудилась... я... Отец Сергей... я...

Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказал:

-- Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит... Молись, чтобы Бог простил нас.

Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услышала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь.

-- Что вы сделали с рукой? -- Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидела на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему; но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь.

-- Простите меня, -- сказала она. -- Чем выкуплю я грех свой?

-- Уйди.

-- Дайте я перевяжу вам рану.

-- Уйди отсюда.

Торопливо и молча оделась она. И готовая, в шубе, сидела, ожидая. С надворья слышались бубенцы.

-- Отец Сергей. Простите меня.

-- Уйди. Бог простит.

-- Отец Сергей. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня.

-- Уйди.

-- Простите и благословите меня.

-- Во имя Отца и Сына и Святого Духа, -- слышалось из-за перегородки. --
Уйди.

Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел навстречу.

-- Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете?

-- Все равно.

Она села и до дома не сказала ни одного слова.

Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководством затворника Арсения, который изредка писал ей письма.

VI

В затворе прожил отец Сергей еще семь лет. Сначала отец Сергей принимал многое из того, что ему приносили: и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему.

Все время свое отец Сергей проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых все становилось больше и больше. Выходил отец Сергей только в церковь раза три в год и за водой и за дровами, когда была в том нужда.

После пяти лет такой жизни случилось то ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившаяся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходиться все больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава про отца Сергия, как всегда, преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше. Стали стекаться к нему издали и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их.

Первое исцеление было на восьмой год его жизни в затворе. Это было исцеление четырнадцатилетнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с

требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять, болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости, но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну, просила ради Христа. На утверждение отца Сергия, что только Бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергий отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, уже ночи были холодные), он, выйдя из кельи за водой, увидел опять ту же мать с своим сыном, четырнадцатилетним бледным, исхудавшим мальчиком, и услышал те же мольбы. Отец Сергий вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши сомнений в том, что он должен отказаться, почувствовал сомнение, а почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требование женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец Сергий, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное Богом.

И, выйдя к матери, отец Сергий исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться.

Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И, не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше.

Так прошло девять лет в монастыре и тринадцать в уединении. Отец Сергий имел вид старца: борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые.

VII

Отец Сергий уже несколько недель жил с одной неотступною мыслью: хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен. Началось это после выздоровевшего четырнадцатилетнего мальчика, с тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сергий чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу.

Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. Устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы, -- место, где он мог благословлять проходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим, но, по мере того как он отдавался этой

жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал, он делал все больше и больше для людей, а не для Бога.

Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание Божеского света истины, горящего в нем. "Насколько то, что я делаю, для Бога и насколько для людей?" -- вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для Бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его.

Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и, где лучше подают и пускают, и вот так и хотел сделать отец Сергей. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства.

С каждым днем все больше и больше приходило к нему людей и все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. "Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда "она" (он всегда с восторгом вспоминал эту ночь и ее, теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевают набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли все, осталась одна грязь". Так думал он в редкие, светлые минуты; но самое обыкновенное состояние его было: усталость и умиление перед собой за эту усталость.

Была весна, канун праздника преполовления. Отец Сергей служил всю ночь в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек двадцать. Это все были господа и купцы -- богатые. Отец Сергей пускал всех, но эту выборку делали монахи, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек в восемьдесят странников, в особенности баб, толпилась наружи, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергей служил и, когда он вышел, славя... к гробу своего предшественника, он

пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его.

-- Что с вами? Батюшка, отец Сергей! Голубчик! Господи! -- заговорили голоса женщин. -- Как платок стали.

Но отец Сергей тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец Серапион, дьякон, и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу.

-- Ничего, ничего, -- улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергей, -- не прерывайте службу.

"Да, так святые делают", -- подумал он.

-- Святой! Ангел Божий! -- слышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Опять теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергей дослужил всенощную.

Тотчас после службы отец Сергей благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз у хода в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо, но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословенья и спрашивая советов и помощи. Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергей знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип; тут были странники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться; тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах: о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного или прижитого ребенка. Все это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословенье, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергей устал, но он, вспомнив при том слова Евангелия: "Не мешайте им (детям) приходить ко мне" и умилившись на себя при этом воспоминании, сказал, чтобы их пустили.

Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание, принять их всех он не мог: опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул.

-- Да, видно, до завтра. Я не могу нынче, -- сказал он и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил.

-- Отец! -- слышалось в толпе. -- Отец! Батюшка! Не покинь ты нас. Пропали мы без тебя!

Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязами, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергий не мог слышать его, но говорил решительно и сердито:

-- Убирайтесь, убирайтесь. Благословил, ну, чего же вам еще? Марш. А то, право, шею намну. Ну, ну! Ты, тетка черные онучи, ступай, ступай. Ты куда лезешь? Сказано, шабаш. Что завтра Бог даст, а нынче весь отошел.

-- Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть, -- говорила старушка.

-- Я те взгляну, куда лезешь?

Отец Сергий заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтоб он не гнал народ. Отец Сергий знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы произвести впечатление.

-- Хорошо, хорошо, Я не гоню, я усовещиваю, -- отвечал купец, -- ведь они рады dokonать человека. У них жалости ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано. Иди. Завтра.

И купец прогнал всех.

Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное потому, что отец Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за тысячу четыреста верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. Он лечил эту дочь за два года ее болезни уж в разных местах. Сначала в губернском университетском городе в клинике -- не помогли; потом возил ее к мужику в Самарскую губернию -- немножко полегчало; потом возил к московскому доктору, заплатил много денег -- ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергий излечивает, и вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал:

-- Отец святой, благослови дочь мою болящую, исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим. -- И он сложил горсточкой руку на руку. Все это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясно и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом надо и должно просить об исцелении дочери. Он сделал это с такою уверенностью, что даже и отцу Сергию показалось, что все это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица двадцати двух лет, заболела два года тому назад, после скоропостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредила. И вот он привез ее за тысячу четыреста верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергий прикажет привести ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца.

-- Что же, она очень слаба? -- сказал отец Сергий.

-- Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а тальке нерастениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергий привести ее, я бы духом слетал. Отец святой, оживите сердце родителя, восстановите род его -- молитвами своими спасите болящую дочь его.

И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергей опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал:

-- Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал. -- И он закрыл глаза. -- Я пришлю тогда.

Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергей остался один.

Вся жизнь отца Сергея была полна службами и посетителями, но нынче был особенно трудный день. Утром был приезжий важный сановник, долго беседовавший с ним; после него была барыня с сыном. Сын этот был молодой профессор, неверующий, которого мать, горячо верующая и преданная отцу Сергию, привезла сюда и упросила отца Сергея поговорить с ним. Разговор был очень тяжелый. Молодой человек, очевидно, не желал вступать в спор с монахом, соглашался с ним во всем, как с человеком слабым, но отец Сергей видел, что молодой человек не верит и что, несмотря на то, ему хорошо, легко и спокойно. Отец Сергей с неудовольствием вспоминал теперь этот разговор.

-- Покушать, батюшка, -- сказал келейник.

-- Да, что-нибудь принесите.

Келейник ушел в келейку, построенную в десяти шагах от входа в пещеры, а отец Сергей остался один.

Давно уже прошло то время, когда отец Сергей жил один и сам все делал для себя и питался одной просвирой и хлебом. Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми кушаньями. Он употреблял их мало, но гораздо больше, чем прежде, и часто ел с особенным удовольствием, а не так как прежде, с отвращением и сознанием греха. Так это было и теперь. Он поел кашку, выпил чашку чая и съел половину белого хлеба.

Келейник ушел, и он остался один на лавочке под вязом.

Был чудный майский вечер, лист только что разлопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко и другие два или три внизу в кустах у реки, щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пенье возвращавшихся, верно с работы, рабочих; солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светло-зеленая, другая, с вязом, была темная. Жуки летали, хлопались и падали.

После ужина отец Сергей стал творить умственную молитву: "Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас", -- а потом стал читать псалом, и вдруг, среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больною дочерью: она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее и она считали его угодником, таким, чья

молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким.

Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касатскому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем, но то, что он был такой, не было никакого сомнения: он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве.

Как ни странно это было, это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. "За тысячу верст приезжают, в газетах пишут, государь знает, в Европе, в неверующей Европе знают", -- думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он стал опять молиться Богу. "Господи, царю небесный, утешителю, душе истины, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наша. Очисти от скверны славы людской, обуревающей меня", -- повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы: молитва его делала чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у Бога освобождения от этой ничтожной страсти.

Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что Бог услышал его молитвы, он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный сборками отрезок пальца и поцеловал его; ему казалось, что он и был смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему пьяного солдата, требовавшего денег, ее. Но теперь? И он спросил себя: любит ли он кого, любит ли Софью Ивановну, отца Серапиона, испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и неотсталость от образования. Ему приятна, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты.

Ему было приятно узнать, что купцовой дочери двадцать два года, и хотелось знать, красива ли она. И, спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет.

"Неужели я так пал? -- подумал он. -- Господи, помоги мне, восстанови меня. Господь и Бог мой". И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. "Да есть ли Он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома... Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот -- соловьи, жуки, природа. Юноша прав, может быть". И он стал громко молиться и долго молился, до тех пор пока мысли эти не исчезли и он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь.

Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел.

Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно короткая девушка, с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими

формами. Отец Сергей остался на лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле него и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его.

Когда он взошел, она встала.

-- Я к папаше хочу, -- сказала она.

-- Не бойся, -- сказал он. -- Что у тебя болит?

-- Все у меня болит, -- сказала она, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой.

-- Ты будешь здорова, -- сказал он. -- Молись.

-- Что молиться, я молилась, ничего не помогает. -- И она все улыбалась. -- Вот вы помолитесь да руки на меня наложите. Я во сне вас видела.

-- Как видела?

-- Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь. -- Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. -- Вот сюда.

Он отдал ей свою правую руку.

-- Как тебя звать? -- спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден. Что похоть ушла уже из-под руководства.

-- Марья. А что?

Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвила его за пояс и прижимала к себе.

-- Что ты? -- сказал он. -- Марья. Ты дьявол.

-- Ну, авось ничего.

И она, обнимая его, села с ним на кровать.

На рассвете он вышел на крыльцо.

"Неужели все это было? Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец". -- Он схватил топор и пошел в келью.

Келейник встретил его.

-- Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор.

Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был четыре года.

Вдоль реки шла дорога; он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву.

Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. "Да, надо кончить. Нет Бога! Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на суку". Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение; он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать.

И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходят: дядя Николай Сергеевич, с огромной, лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька большими кроткими глазами и жалким, робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончается тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что совестно и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергей, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. Сын умер маленьким.

Сергей вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же -- не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом. И они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. "И зачем я думаю о ней? -- спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней. -- Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают, по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо".

И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке.

Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидел ангела, который пришел к нему и сказал: "Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение".

Он проснулся и, решив, что это было виденье от Бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет, -- это было за триста верст, -- и пошел туда.

VIII

Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью: и

дочь, и самого больного, неврастеника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда пять часов, так что в месяц зарабатывалось около шестидесяти рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это не застало его.

Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат.

Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие мальчик и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа.

Она видела, что зять -- слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а все будет хуже. Да этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу.

Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке, на кривых ножках, в штопаных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом.

-- Бабушка, старик страшный тебя ищет.

Лукерья выглянула:

-- И то, странник какой-то, барыня.

Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкафу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. "Вот тебе наказание, -- сказала она себе, -- вдвое подай".

Она подала, извиняясь, и то и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а, напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника.

Несмотря на то, что он триста верст прошел Христовым именем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был все тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав его почти тридцать лет.

-- Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите?

Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее.

-- Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня.

И черные прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под седеющими усами жалостно дрогнули губы.

Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.

-- Да не может быть! Степа! Сергей! Отец Сергей.

-- Да, он самый, -- тихо проговорил Сергей. -- Только не Сергей, не отец Сергей, а великий грешник Степан Касатский, погибший, великий грешник. Прими, помоги мне.

-- Да не может быть, да как же вы это так смирились? Да пойдете же.

Она протянула руку; но он не взял ее и пошел за нею.

Но куда вести? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик, для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного.

-- Сядьте сюда, сейчас, -- сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне.

Сергий тотчас же сел и снял, очевидно, уже привычным жестом, сначала с одного, потом с другого плеча сумку.

-- Боже мой, Боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава и вдруг так...

Сергий не отвечал и только кротко улыбался, укладывая подле себя сумку.

-- Маша, это знаешь кто?

И Прасковья Михайловна шепотом рассказала дочери, кто был Сергей, и они вместе вынесли и постель и люльку из чулана, опростав его для Сергия. Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку.

-- Вот тут отдохните. Не взыщите. А мне идти надо.

-- Куда?

-- Уроки у меня тут, совестно и говорить -- музыке учу.

-- Музыке -- это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?

-- За счастье почту. Вечером можно?

-- Можно, только еще просьба: Не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо.

-- Ах, а я сказала дочери.

-- Ну, попросите ее не говорить.

Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу.

Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергей сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.

-- Что же ты раньше пришла обещанного? -- сказал Сергей. -- Теперь можно поговорить?

-- И за что мне такое счастье, что такой посетитель. Я уж пропустила урок. После... Я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье.

-- Пашенька! пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед Богом. Пашенька! я не святой человек, даже не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, но хуже самых худых людей.

Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала:

-- Стива, может быть, ты преувеличиваешь?

-- Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.

-- Боже мой! Что ж это? -- проговорила Прасковья Михайловна.

-- Но надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить, -- я ничего не знаю и я тебя прошу научить.

-- Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь надо мной?

-- Ну, хорошо, я смеюсь: только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?

-- Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь Бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно...

-- Как же ты вышла замуж? как жила с мужем?

-- Все было дурно. Вышла -- влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того чтобы помочь мужу, я мучила его ревностью, которую не могла в себе победить.

-- Он пил, я слышал.

-- Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.

И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касатского.

Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это происходило.

-- Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.

-- Да ведь у вас было именье.

-- Это еще при Васе мы продали и все... прожили. Надо было жить, а я ничего не умела -- как все мы, барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последнее, я учила детей -- сама немножко подучилась. А тут Митя заболел уже в четвертом классе, и Бог взял его. Манечка полюбила Ваню -- зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.

-- Мамаша, -- перебила ее речь дочь. -- Возьмите Мишу, не могу я разорваться.

Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку.

-- Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место тут хорошее -- и начальник, такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.

-- Чем же он болен?

-- Неврастенией, это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо было ехать, но средств нет. Но я все надеюсь, что так пройдет. Особенно болей у него нет, но...

-- Лукерья! -- слышался его голос, сердитый и слабый. -- Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша!..

-- Сейчас, -- опять перебила себя Прасковья Михайловна. -- Он не обедал еще. Он не может с нами.

Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки.

-- Так вот и живу. И все жалуемся, и все недовольны, а, слава Богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить.

-- Ну, чем же вы живете?

-- А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась.

Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и как упражнения, перебирала худыми пальцами.

-- Что же вам платят за уроки?

-- Платят и рубль, и пятьдесят копеек, есть и тридцать копеек. Они все такие добрые ко мне.

-- И что же, успехи делают? -- чуть улыбаясь глазами, спросил Касатский.

Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза.

-- Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиним связям, я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех до этого.

-- Да, да, -- говорил Касатский, наклоняя голову. -- Ну, а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? -- спросил он.

-- Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила. С детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю.

-- А отчего же не бываете сами?

-- Да правду сказать, -- она покраснела, -- да оборванной идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто ленюсь.

-- Ну, а дома молитесь?

-- Молюсь, да что за молитва, так, машинально. Знаю, что не так надо, да нет настоящего чувства, только и есть, что знаешь всю свою гадость...

-- Да, да, так, так, -- как бы одобряя, подговаривал Касатский.

-- Сейчас, сейчас, -- ответила она на зов зятя и, поправив на голове косынку, вышла из комнаты.

На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касатский сидел в том же положении, опершись локтями на колена и опустив голову. Но сумка его была надета на спину.

Когда она вошла с жестяной, без колпака, лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные, усталые глаза и глубоко, глубоко вздохнул.

-- Я им не сказала, кто вы, -- начала она робко, -- а только сказала, что странник из благородных и что я знала. Пойдемте в столовую, чаю.

-- Нет...

-- Ну, я сюда принесу.

-- Нет, ничего не надо. Спаси тебя Бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видала меня. Богом живым заклинаю тебя: не говори никому... Спасибо тебе. Я бы поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо, прости Христа ради.

-- Благословите.

-- Бог благословит. Прости Христа ради.

И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, баранок и масла. Он взял все и вышел.

Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и, узнала, что он идет, только по тому, что протопопова собака залаяла на него.

"Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом Бога, она живет для Бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже благодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания служить Богу?" -- спрашивал он себя, и ответ был: "Да, но все это

было загажено, заросло славой людской. Да, нет Бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его".

И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бранила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье располагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех.

Он часто, находя в доме Евангелие, читал его, и люди всегда, везде все умилялись и удивлялись, как новое и вместе с тем давно знакомое слушали его.

Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. И понемногу Бог стал проявляться в нем.

Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженном рысаком, и мужчина и дама верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником-французом.

Они остановили их, чтобы показать ему *leg pèlerins* [странников], которые, по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место.

Они говорили по-французски, думая, что не понимают их.

-- *Demandez leur*, -- сказал француз, -- *s'ils sont bien surs de ce que leur pèlerinage est agréable à Dieu*. [Спросите у них, твердо ли они уверены, что их паломничество угодно Богу.]

Их спросили. Старушки отвечали:

-- Как Бог примет. Ногами-то были, сердцем будем ли?

Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда.

Спросили Касатского, кто он?

-- Раб Божий.

-- *Qu'est ce qu'il dit? Il ne répond pas.*

-- *Il dit qu'il est un serviteur de Dieu.*

-- *Cela doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie?*

*[-- *Что он сказал? Он не отвечает.*

-- *Он сказал, что он слуга Божий.*

-- *Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь?]*

У француза нашлась мелочь. И он всем раздал по двадцать копеек.

-- Mais dites leur que ce n'est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour qu'ils se régalaient de thé; чай, чай, -- улыбаясь, -- pour vous, mon vieux ,*[-- Скажите им, что я даю им не на свечи, а чтобы они полакомились чаем... вам, дедушка.] -- сказал он, трепля рукой в перчатке Касатского по плечу.

-- Спаси Христос, -- ответил Касатский, не надевая шапки и кланяясь своей лысой головой.

И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое -- взял смиренно двадцать копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значения мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог.

Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у него нет, а что он раб Божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными.

BOOK BOOK

СТЕФАН
ЦВЕЙГ

«ГЛАЗА ИЗВЕЧНОГО
БРАТА» *новеллы*





ГЛАЗА ИЗВЕЧНОГО БРАТА

Сие есть повесть о Вирате, коего народ прославил четырьмя именами добродетели, но кто не упомянут ни в летописях властителей, ни в книгах мудрецов и чья память забыта людьми.

Сколь ни страшился б ты деянья, в своей ты воле
не свободен. Ведь каждый шаг и каждый вздох твой суть
деянье.

Бхагавадгита, песнь третья

Что есть деянье? Что бездействие? Для мудрецов
загадка.

Остерегаться должно и деянья, и проступка,
Остерегаться и бездействия пустого. Глубок, как бездна,
смысл деянья.

Бхагавадгита, песнь четвертая

В те времена, когда мудрый Будда еще не ходил по земле и не проливал свет познания на своих слуг, жил в стране бирвагов, у царя Раджпутаны, знатный человек

Вирата, которого называли Молнией Меча, ибо он был воин, храбрее самых храбрых, и охотник, чьи стрелы никогда не летели мимо цели, чье копьё никогда не взвивалось напрасно и чья рука разила как гром при взмахе его меча. Его чело было светло, взгляд открыто встречал взоры людей: никто не видал его злобно сжимающим руку в кулак, никогда его голос не возвышался до гневного крика. Он преданно служил своему государю, а его рабы почтительно служили ему, ибо не было более справедливого человека на пяти излучинах реки. Благочестивые люди склоняли голову, проходя мимо его дома, а дети улыбались, встречая его взор.

Однажды царя постигло несчастье. Брат его жены, которого он поставил правителем над половиной своего царства, пожелав завладеть и второй половиной, тайными подарками соблазнил лучших царских воинов, чтобы они служили ему. Он уговорил жрецов доставить ему ночью священных цапель озера, уже много тысячелетий служивших символом власти в стране бирвагов. Мятежник снарядил боевых слонов, собрал войско из недовольных жителей гор и, взяв с собой священных цапель, грозно выступил против столицы.

Царь приказал с утра до вечера бить в литавры и трубить в рога из слоновой кости; по ночам на башнях зажигали огни и бросали в пламя растертую чешую рыб, которая желтыми искрами взлетала к звездам в знак призыва. Но пришли лишь немногие: весть о похищении священных цапель тяжело легла на сердца вождей и наполнила их боязнью. Начальник воинов и хранитель слонов, самые испытанные из полководцев, пребывали уже в лагере врага, и тщетно искал вокруг себя друзей покинутый царь (ибо он был суровый властитель, строгий судья и неумолимый собиратель податей. Никого из доблестных военачальников не нашел он перед своим дворцом, а лишь толпу растерянных рабов и слуг.

В своей великой беде царь вспомнил о Вирате, заявившем о верности своей при первом звуке рогов. В носилках черного дерева царь велел отнести себя к дому Вираты. Вирата пал ниц, когда царь вышел из носилок, но тот поднял и обнял его, прося повести войско против врага. Вирата склонил голову и сказал:

- Я сделаю это, господин, и не вернусь в этот дом, пока пламя мятежа не будет растоптано ногами твоих слуг.

И он собрал своих сыновей, своих родичей и рабов, примкнул с ними к кучке верных царю воинов и построил их для похода. Весь день пробирались они сквозь лесные дебри к реке, на другом берегу которой в несметном множестве собрались враги, похваляясь своей силой и рубя деревья для моста, чтобы наутро переправиться и, потоком хлынув на страну, затопить ее кровью. Но Вирата, ходивший раньше на тигров, знал брод выше по течению, и, когда сгустилась тьма, он одного за другим перевел своих людей через реку, и среди ночи они врасплох напали на спящего врага. Они размахивали смоляными факелами, пугая слонов и буйволов, и те, обращаясь в бегство, топтали спящих при белом свете пламени, врывавшегося в шатры. Вирата же первым вбежал в шатер изменника и, прежде чем пришли в себя спавшие, он уже убил двоих, а третьего зарубил в тот миг, когда тот хотел схватиться за меч. С четвертым и пятым Вирата бился один на один во мраке и поразил первого из них в лоб, а другого в обнаженную грудь. Когда же они безмолвно легли, тени среди теней, он загородил собой вход в шатер, дабы никто не проник внутрь, ибо он желал спасти белых цапель, священный символ Божества. Но враги больше не показывались, они в смертельном страхе бежали с поля битвы, а за ними, с криками торжества, гнались победоносные слуги царя. Погоня промчалась мимо и малопомалу затихла вдали. Тогда Вирата спокойно сел у входа, скрестив ноги; держа в руках окровавленный меч, он ожидал возвращения своих спутников после жаркой схватки.

Прошло немного времени, и Божий день занялся за лесом, пальмы вспыхнули золотым багрянцем зари и засверкали, как факелы, над рекой. Огненной раной прорезало восток кровавое солнце. Тогда Вирата встал, снял с себя одежду и, воздев над головою руки, подошел к воде: он склонился в молитве перед сверкающим оком Бога. Потом

вошел в воду для священного омовения, и кровь стекла с его рук. Когда же рассвет белой волной коснулся его чела, он вышел опять на берег, облачился в свою одежду и с просиявшим лицом вернулся к шатру, чтобы при свете утра посмотреть на подвиги ночи. С застывшим ужасом в чертах, с широко открытыми глазами, раскинув руки, лежали мертвые: с раскроенным лбом — зачинщик мятежа и с рассеченной грудью — изменник, бывший ранее предводителем войска в стране бирвагов. Вирата закрыл им глаза и шагнул дальше — взглянуть на тех, кто пал во сне от его меча. Они лежали, полуприкрытые циновками, и лица двоих были ему неведомы, — это были рабы мятежника из южной страны, с курчавыми волосами и черной кожей. Но когда он повернул к себе лицо последнего, у него потемнело в глазах, ибо это был его старший брат Белангур, горный князь, которого мятежник призвал к себе на помощь и которого он, Вирата, убил ночью собственной рукой. С дрожью склонился он над скорченным телом; но сердце больше не билось, неподвижно застыли раскрытые глаза убитого, и их черные зрачки проникали Вирате в самое сердце. Великому воину стало трудно дышать; как неживой, сидел он между мертвыми, отведя взгляд, чтобы не видеть обвиняющих, застывших очей того, кто был рожден его матерью до него.

Но вскоре раздались громкие клики. Подобно стае диких птиц, ликуя, возвращались после погони воины с богатой добычей и веселой душой. Увидев мятежного князя, убитого в своем стане, и священную цапель в сохранности, они стали плясать и прыгать от радости, и целовали край ниспадавшей одежды у безучастно сидевшего среди них Вираты, и прославляли его новым именем — Молнией Меча. Подходили все новые и новые воины; они грузили добычу на повозки, но колеса под тяжестью поклажи так глубоко увязали в земле, что приходилось бить буйволов терновником, чтобы сдвинуть их с места. Гонец бросился в реку и поспешил вперед, чтобы доставить весть царю, а воины остались при добыче и торжествовали победу. Но молча, в глубоком раздумье сидел Вирата. Только раз возвысил он голос, когда его люди хотели похитить одежду с убитых. Тогда он встал и приказал сложить костер и возложить на него тела убитых для сожжения, дабы души их чистыми вступили на путь перевоплощения. Слуги дивились, что он поступает так с заговорщиками, чьи тела следовало бы бросить на растерзание шакалам, а кости оставить на земле, дабы солнце иссушило их; но они исполнили его волю. Когда костер был готов, Вирата сам разжег его и бросил в огонь благовония. Потом он отворотил лицо и стоял в молчании, пока не рухнули последние бревна и пепел не покрыл опавшее пламя.

Тем временем рабы закончили наводку моста, накануне с хвастовством начатую противником. Впереди шествовали воины, увенчанные цветами банана, за ними следовали рабы, ехали верхом князя. Вирата пропустил всех вперед, ибо пение и клики разрывали ему сердце, и когда, наконец, он тоже двинулся в путь, между ним и шествием, по его воле, был некоторый промежуток. Посреди моста он остановился и долго смотрел вниз, вправо и влево, в текущую воду, впереди и позади него, соблюдая расстояние, остановились в недоумении воины. И они увидели, как он замахнулся мечом, будто грозя небу, но опуская руку, тихо выпустил рукоять, и меч упал в воду. С обоих берегов бросились в реку нагие юноши, чтобы достать его, полагая, что меч случайно выскользнул из рук Вираты, но он строго отозвал их и медленно, с омраченным челом, прошел между удивленными рабами. Ни единого слова не сорвалось с его уст, пока шествие, час за часом, тянулось по желтой дороге к родному городу.

Они были еще далеко от яшмовых ворот и зубчатых башен Бирваги, как вдруг вдали поднялось белое облако. Оно катилось им навстречу, и вот из него, обгоняя пыль, показались скороходы и всадники. Завидя войско, они остановились и устлали дорогу коврами в знак того, что за ними следует царь, чья нога никогда не должна касаться земного праха с часа его рождения и до часа смерти, когда пламя охватит его освященное тело. И уже приближался на древнем слоне царь, окруженный своими отроками. Послушный жожаку, слон опустился на колени, и царь сошел на разостланный ковер.

Вирата хотел склониться перед своим господином, но царь подошел к нему и принял его в свои объятия - честь, не слыханная с начала времен и не упоминаемая в летописях. Вирата приказал принести цапель, и, когда они взмахнули белыми крыльями, раздалось такое ликование, что кони стали взвиваться на дыбы, а погонщики должны были укрощать слонов. Увидя это знамение победы, царь опять обнял Вирату и подал знак одному из слуг. Тот принес и подал меч славного праотца раджпутов, семь раз семьсот лет пролежавший в царской сокровищнице; рукоять его сверкала алмазами, а на клинке золотыми письменами начертаны были таинственные слова победы на древнем языке предков, которого уже не знали ни мудрецы, ни жрецы главного храма. И царь подал Вирате этот меч мечей как дар своей признательности и в знак того, что отныне Вирата будет старшим из его военачальников и предводителем всех его войск.

Но Вирата склонился до земли и сказал:

— Могу ли я испросить милость милостивейшего и обратиться с просьбой к великодушнейшему из царей?

Царь устремил взор на Вирату и отвечал:

— Твоя просьба будет исполнена, прежде чем ты подымешь на меня глаза. И если потребуешь половину моего царства — она твоя, лишь только ты откроешь уста.

И Вирата сказал:

— Так дозвожь же, о царь, чтобы этот меч по-прежнему хранился в сокровищнице, ибо в сердце своем я дал обет никогда больше не брать в руки меча, после того как ныне я убил моего брата единственного, который вышел из одного лона со мной и с которым я играл, когда мать держала меня на руках.

Изумленно взглянул на него царь и сказал:

— Будь же без меча старшим из моих военачальников, чтобы царство мое было неприступным для врагов, ибо никогда ни один герой не вел лучше тебя рать против превосходящих сил. Возьми мой пояс, как знак власти, и моего коня, дабы все узнали в тебе первого из моих воинов.

Но Вирата еще раз склонился до земли и промолвил:

— Незримый подал мне знак, и мое сердце поняло его. Я должен был убить моего брата затем, чтобы узнать, что всякий убивающий человека лишает жизни брата. Я не могу быть вождем на войне, ибо в мече - насилие, а насилие враждует с правом. Тот, кто причастен к греху убиения -- мертв сам. Я же не хочу, чтобы от меня исходил страх, и предпочту есть хлеб подаяния, чем погрешить против этого поданного мне знака. Коротка жизнь в вечном перевоплощении, дай же мне прожить свой срок праведным.

Лицо царя омрачилось, и зловещая тишина сменила шум ликования, ибо не слыхано было со времен отцов и праотцев, чтобы свободный человек отрекался от войны и князь не принял подарка от своего государя. Но царь взглянул на священных цапель, символ победы, добытой Виратой, лицо его вновь просветлело, и он сказал:

— Храбрым перед лицом врагов я всегда знал тебя, Вирата, и справедливейшим среди подданных моего царства. Если я должен обойтись без тебя на войне, то я все же не хочу лишиться твоих услуг. Так как ты знаешь тяжесть вины и справедливо взвешиваешь ее, будь верховным судьей и верши суд на ступенях моего дворца, дабы истина находила приют в моих стенах и право охранялось в стране.

Вирата простерся перед царем и в знак благодарности коснулся его колена. Царь приказал ему сесть на слона рядом с собой, и они въехали в шестидесятибашенный город, где ликование жителей обступило их бушующим морем.

С высоты розовой лестницы, под сенью дворца, с восхода и до заката Вирата вершил суд именем царя. И слово его было, как весы, которые долго колеблются, прежде нежели измерить груз: его взор ясно читал в душе виновного, и его вопросы упорно

проникали в тайны преступлений, как барсуки проникают в темные недра земли. Строг был его приговор, но никогда не выносил он решения в тот же день, оставляя прохладный покой ночи между допросом и осуждением. В долгие часы перед солнечным восходом домашние его часто слышали, как он неустанно ходит взад и вперед по кровле дома, размышляя о правде и кривде. Перед тем как изречь приговор, он окунал руки и лоб в воду, дабы его слово было свободно от горячности. И всегда, произнеся приговор, он спрашивал преступника, не считает ли тот решение неправильным; но редко кто-либо спорил: молча целовали осужденные ступень у его ног и с поникшей головой принимали наказание, как Божью кару.

Но никогда уста Вираты, даже за тягчайшие злодеяния, не возвещали смерть, и он не внимал корившим его за это. Ибо его страшила кровь. И в те годы дождь добела омыл почерневшие от пролитой крови камни круглого колодца праотцев раджпутов, над краем которого палач пригибал головы для смертоносного удара. И все же в стране совершалось не больше злодеяний. Вирата заточал преступников в каменные темницы или ссылал их в горы, где они должны были выламывать камень для садовых оград, и на рисовые мельницы, где они вместе со слонами вертели колеса. Но он чтит жизнь, и люди чтити его, ибо никогда не замечали ошибок в его приговорах, небрежности в его допросах или гнева в его речах. Издалека приезжали к нему в запряженных буйволами повозках земледельцы, чтобы он разрешил их тяжбы, жрецы внимали его словам, и царь следовал его советам. Слава его росла, как растет молодой бамбук, прямой и светлый, и люди забыли данное ему когда-то имя Молнии Меча, и по всей стране раджпутов прославляли его как Источник Справедливости.

И вот когда Вирата уже шестой год вершил суд с высоты дворцовой лестницы, случилось однажды, что привели к нему юношу из племени хозаров — дикарей, живших среди скал и поклонявшихся иным Богам. Ноги его были изранены от многодневного пути, которым его вели в столицу, и четырехкратные путы обвивали его мощные руки, чтобы он ни на кого не мог кинуться, как это грозно сулили его глаза, гневно сверкавшие из-под насупленных бровей. Жалобщики привели его к подножию лестницы и силой поставили связанного на колени перед судьей. Потом они склонились сами и подняли руки в знак обвинения.

Вирата с удивлением смотрел на пришельцев.

— Кто вы, братья, пришедшие издалека, и кто тот, кого вы привели ко мне в путах?

Старейший из них поклонился и заговорил:

— Пастухи мы, господин, и мирно живем на востоке, этот же — злейший из злого племени — бешеный зверь, убивший людей больше, чем пальцев на его руках. Один из жителей нашей деревни отказался дать ему в жены свою дочь, потому что их племя нечестиво: они едят собак и убивают коров. И он выдал ее за купца из долины. Этот же, одержимый гневом, как разбойник, ворвался к нам, убил ночью отца девушки и его троих сыновей, а потом, когда случалось, что слуги убитого гнали скот в горы, он выслеживал их и убивал. Одиннадцать наших односельчан лишил он жизни, пока мы не соединились и не сделали на злодея облаву, как на дикого зверя, и вот мы привели его к тебе, справедливейшему из судей, дабы ты избавил страну от насильника.

Вирата обратил лицо к связанному юноше.

— Правда ли то, что они говорят?

— Кто ты? Царь?

— Я Вирата, его слуга и слуга закона, поставленный налагать возмездие за вину и отделять правду ото лжи.

Связанный долго молчал. Потом он угрюмо взглянул на Вирату.

— Как можешь ты знать, где правда и где ложь, когда знание твое питается только словом людским?

— Против их слова пусть прозвучит твое слово, дабы я узнал истину.

Связанный юноша презрительно поднял брови.

— Я не стану спорить с ними. Как можешь ты знать, что я сделал, если я сам не знаю, что творят мои руки, когда мной овладевает гнев? Я справедливо поступил с тем, кто продал женщину за деньги, справедливо поступил с его сыновьями и слугами. Пусть обвиняют меня. Я презираю их и презираю твой суд.

Гнев потряс присутствующих, когда они услышали, как закоснелый преступник поносит справедливого судью, и судебный страж уже занес суковатую палку для удара. Но Вирата движением руки усмирил их и возобновил вопросы. И после каждого ответа жалобщиков он вопрошал обвиняемого. Но тот стиснул зубы и только раз сказал со злобной усмешкой: — Как хочешь ты узнать истину из чужих слов?

Солнце высоко стояло над головой в час полудня, когда Вирата прекратил допрос. Он поднялся, желая, по своему обыкновению, уйти домой и лишь на следующий день возвестить приговор. Но жалобщики простерли к нему руки.

— Господин, — сказали они, — семь дней шли мы, чтобы предстать пред твоим лицом, и семь дней продлится наш обратный путь. Мы не можем ждать до завтра, ибо скот наш гибнет от жажды и поле ждет нашего плуга. Господин, мы молим тебя, изреки приговор!

Тогда Вирата вновь опустился на ступени и задумался. Лицо его было напряжено, как у человека, несущего на голове большую тяжесть. Никогда доселе не доводилось ему произносить приговор над преступником, который не просил о милости и не защищал себя. Долго думал он, и тени росли по мере того, как текли часы. Потом он подошел к колодцу, омыл лицо и руки в прохладной воде, дабы его слово было свободно от горячности, и сказал:

— Да будет справедлив приговор, который я изреку. Смертный грех принял на себя этот юноша, одиннадцать живых душ изгнал он из теплого тела в мир перевоплощения. Почти год зреет скрыто жизнь человека в лоне матери. Пусть же он за каждого убитого им будет заточен на год в подземный мрак. И за то, что он одиннадцать раз пролил человеческую кровь, да будет он каждый год, а всего одиннадцать раз, бичуем, пока кровь не брызнет из него, дабы он заплатил по числу своих жертв. Но жизнь пусть будет ему сохранена, ибо жизнь даруют Боги, и человек не смеет посягать на Божественное. Да будет справедлив приговор, который я изрек не в угоду кому-либо, а во имя великого воздаяния.

И снова опустился Вирата на ступени, и челобитчики поцеловали их в знак почтения. Но связанный юноша мрачно встретил устремленный на него вопрошающий взор судьи. Тогда Вирата сказал:

— Я призывал тебя просить меня о милосердии и помочь мне против твоих обвинителей, но уста твои не разомкнулись. Если есть заблуждение в моем приговоре, то вини перед Всевышним не меня, а свое молчание. Я хотел быть милостивым к тебе. Связанный встрепенулся:

— Мне не нужна твоя милость. Что она по сравнению с жизнью, которую ты у меня отнимаешь единым словом?

— Я не отнимаю у тебя твоей жизни.

— Ты отнимаешь ее, и отнимаешь более жестоко, чем делают это вожди нашего племени, которое называют диким. Почему ты не убиваешь меня? Я убивал один на один, ты же велишь закопать меня, как падаль, во мрак земли, дабы я гнил годами, потому что сердце твое робеет перед кровью и в тебе нет мужества. Произвол в твоём законе и пытка в твоём приговоре. Убей меня, ибо я убивал.

— Я справедливо отмерил твое наказание...

— Справедливо отмерил? Где же твоя мера, судья, которой ты меришь? Разве ты был наказан, что знаешь бич? Как можешь ты проворными пальцами отсчитывать годы, будто равны часы под солнцем и часы, погребенные во мраке земли? Разве ты сидел в узилище, что знаешь, сколько весен отнимаешь у меня? Ты ничего не знаешь, и нет в тебе справедливости, ибо силу удара знает лишь тот, кто принимает его, а не тот, кто его наносит; лишь испытавший страдание может измерить его. В своей надменности ты дерзаешь карать виновных, а сам виновнее всех, ибо я отнимал жизнь в гневе, в

необоримом порыве страсти, ты же хладнокровно отнимаешь у меня жизнь и отмериваешь мне меру, которой не знаешь и не можешь знать. Сойди со ступеней правосудия, чтобы не соскользнуть вниз! Горе тому, кто мерит мерой произвола, горе невежде, мнящему, что ему ведома истина! Сойди со ступеней, судья неправедный, и не суди живых смертью твоего слова!

Пена ярости выступила на устах юноши, и снова с гневом все набросились на него. Но Вирата вновь остановил их, отвратил свое лицо от юноши и тихо сказал:

— Я не могу отменить приговор, произнесенный с этих ступеней. Да будет он справедливым перед лицом Всевышнего.

И Вирата удалился, а стража схватила связанного юношу. Но еще раз судья оборотился: навстречу ему неподвижно и злобно смотрели глаза насильно уводимого преступника. И Вирата содрогнулся в сердце своем: так похожи были они на глаза его мертвого брата в час, когда тот лежал, убитый его рукой, в шатре мятежного князя...

В тот вечер ни слова не проронил больше Вирата. Взор осужденного впился ему в душу, точно раскаленная стрела. И домашние его слышали всю ночь, как он неустанно, час за часом, ходил по кровле, пока утро не озарило верхушки пальм.

В священном водоеме храма совершил Вирата утреннее омовение и помолился на восток. Затем он вернулся в свой дом, облекся в желтые праздничные одежды, без улыбки приветствовал домашних, которые удивленно, но молча смотрели на его торжественные приготовления, и направился один к царскому дворцу, открытому для него в любой час дня и ночи. Вирата склонился перед царем и прикоснулся к краю его одежды в знак просьбы.

Царь ласково посмотрел на него и сказал:

— Твое желание коснулось моей одежды. Оно будет исполнено, прежде чем ты успеешь его высказать, Вирата.

Вирата заговорил, не поднимая лица:

— Ты поставил меня верховным судьей. Седьмой год вершу я суд именем твоим и не знаю, справедливо ли я судил. Даруй мне месяц тишины, дабы я мог найти путь к истине, и дозвожь мне скрыть мой путь от тебя и от людей. Я хочу совершать праведные деянья, хочу жить без вины.

Царь изумился.

— Оскудеет справедливостью мое царство в этот месяц. Но я не спрашиваю о твоём пути. Да приведет он тебя к истине.

Вирата поцеловал в знак благодарности подножие престола, еще раз низко поклонился и вышел.

С залитой солнцем улицы вошел Вирата в свой дом и созвал жену и детей.

— Ровно месяц вы не увидите меня. Проститесь со мной и ни о чем не спрашивайте.

Робко взглянула на него жена, смиренно глядели сыновья. К каждому склонился он и каждого поцеловал в лоб.

— А теперь ступайте в свои покои и затворитесь, чтобы никто не смотрел мне в спину, когда я выйду из этой двери. И не спрашивайте обо мне, пока не народится новый месяц.

И они отошли в молчании.

Вирата же снял праздничные одежды и надел темные, помолился перед изображением Тысячеликого Бога и, начертав на пальмовых листьях много строк, скатал эти листья в виде письма. С наступлением темноты вышел он из своего безмолвного дома и направился на окраину города, к скале, в которой находились глубокие рудники и темницы. Он стучал в дверь привратника, пока спящий не поднялся со своей циновки и не спросил, кто зовет его.

— Вирата, верховный судья. Я пришел взглянуть на того, кого вчера привели.

— Он заточен в глубине, господин, в самом нижнем подземелье. Проводить тебя к нему, господин?

— Я знаю дорогу. Дай мне ключ и ложись на покой. Утром ты найдешь ключ под твоей

дверью. И не говори никому, что ты меня сегодня видел.

Привратник склонился перед Виратой и принес ключ и светильник; потом, по знаку Вираты, молча отступил и улегся опять на циновку, Вирата же отпер медные ворота, замыкавшие вход в подземелье, и спустился в глубину темницы. Уже сто лет назад цари раджпуты начали заточать в эти скалы своих узников, и каждый заточенный, день за днем, все глубже выдалбливал гору, создавая новые темницы в холодном камне, для новых жертв тюрьмы.

Еще один взгляд бросил Вирата на четырехугольник неба с ярко сверкавшими звездами, потом он закрыл за собой ворота. Сырым дыханием пахнула ему навстречу темнота, и пламя светильника затрепетало в ней, как испуганный зверек. Еще доносились до него мягкий шелест ветра в деревьях и резкие крики обезьян. В верхнем подземелье звуки эти еще сливались в глухой рокот, но во втором уже стояла полная тишина, недвижная и холодная, как в глубине морской. От камней тянуло лишь сыростью, но не животворным запахом плодоносной земли, и чем глубже спускался Вирата, тем громче отдавался его шаг в могиле молчания.

В пятом подземелье, на глубине большей, чем высота самых могучих пальм, находилась темница узника. Вирата вошел и направил светильник на сжавшееся в комок тело, которое шевельнулось лишь тогда, когда его коснулся свет. Звякнула цепь.

Вирата склонился над юношей.

— Ты узнаешь меня?

— Я узнал тебя. Ты тот, кого поставили господином моей судьбы и кто растоптал ее своей пятой.

— Я никому не господин. Я слуга царя и справедливости. Я пришел, чтобы послужить ей.

Мрачно взглянул узник в лицо судье.

— Что нужно тебе от меня?

Долго молчал Вирата, потом сказал:

— Я причинил тебе боль моим словом, но и ты причинил мне боль твоими словами. Я не знаю, справедлив ли мой приговор, но в твоих словах была одна истина: никто не смеет мерить мерой, которой не знает. Я был слеп и хочу прозреть. Сотни людей посылал я в этот мрак, многих обрек на многое и не ведаю, что я содеял. Ныне я хочу узнать то, чего не знал, дабы стать справедливым и без вины вступить на путь перевоплощения.

Узник все так же неподвижно смотрел на Вирату. Тихо бряцала цепь.

— Я хочу знать, к чему я присудил тебя, хочу изведать ожог бича на своем теле и закованное время в своей душе. На месяц хочу я заступить твое место, дабы узнать, какое я отмерил тебе искупление. Потом я изреку новый приговор с высоты дворцовых ступеней, зная уже его силу и тягость. Ты же будь это время на свободе. Я дам тебе ключ, который выведет тебя отсюда, и предоставлю тебе месяц свободной жизни, если ты дашь мне обет вернуться. И тогда из мрака этой темницы зажжется во мне свет познания.

Узник окаменел. Цепь больше не звенела.

— Клянись мне именем безжалостной Богини мести, настаивающей каждого, клянись мне в том, что на этот месяц ты для всех замкнешь свои уста, и я дам тебе ключ и мое платье. Ключ ты положишь под дверь привратника и выйдешь на волю. Но ты будешь связан клятвой перед Тысячеликим Богом в том, что, когда месяц завершит свой круг, ты отнесешь это послание царю, дабы я был освобожден и впредь мог судить по справедливости. Клянешься ли ты перед Тысячеликим Богом исполнить это?

— Клянусь, — глухо сорвалось с уст потрясенного узника.

Вирата разомкнул цепь и снял с себя одежду.

— Надень мое платье, дай мне свое и закрой лицо, чтобы тебя не узнала стража. А теперь возьми эту бритву и обрежь мне волосы и бороду, чтобы и меня не узнали.

Узник взял бритву, но его дрожащая рука опустилась. Однако под повелительным взглядом Вираты он исполнил его приказание. Долго молчал он, но потом с криком бросился наземь.

— Господин, я не допущу, чтобы ты пострадал за меня. Я убивал, проливал кровь горячей рукой. Справедлив был твой приговор.

— Не тебе взвесить это и не мне. Но скоро на меня снизойдет свет. Иди же и в день, когда месяц закончит свой круг, явись, как ты поклялся, перед царем, дабы он освободил меня. Тогда я буду знать цену своим деяниям, и мое слово навсегда очистится от неправды. Иди!

Узник пал ниц и поцеловал землю... Тяжко захлопнулась во мраке дверь, еще раз скользнул отблеск светильника по стенам, и ночь пала на часы времени.

Утром никем не узанного Вирату вывели в поле за городом и там подвергли бичеванию. Когда первый удар обрушился на содрогнувшуюся обнаженную спину, Вирата вскрикнул. Потом он стиснул зубы. При семидесятом ударе у него потемнело в глазах, и его унесли замертво.

Он очнулся, простертый в своей темнице, и ему казалось, что он лежит спиной на раскаленных углях. Но вокруг чела его была прохлада, и запах диких трав наполнял воздух; он почувствовал чью-то руку на своих волосах и капли освежающей влаги. Тихо приподнял он веки и увидел жену привратника, заботливо омывавшую ему лоб. И когда он широко открыл глаза, сострадание звездой сверкнуло ему в ее взоре. И через муку своего тела познал он, в сиянии доброты, смысл всякого страдания. Тихо улыбнулся он ей и больше не чувствовал боли.

На второй день он уже мог подняться и ощупать руками холодный камень стен. Он чувствовал, как с каждым шагом ему открывается новый мир, а на третий день зарубцевались раны, вернулись силы и ясность мысли. Он сидел, не шевелясь, и знал о течении времени лишь по каплям, падавшим со стены и делившим великое молчание на множество малых частиц, которые вырастали в дни и ночи, как сама жизнь из тысяч дней вырастает в зрелость и старость. Никто не говорил с ним, мрак застыл в его крови, но из глубин сознания всплывали пестрые картины прошлого, растекаясь, точно родники, тихим водоемом созерцания, в котором отражалась вся его жизнь. Все, что было пережито в отдельности, слилось теперь воедино и открывалось просветленному сердцу Вираты. Никогда доселе дух его не был так чист, как при этом недвижимом созерцании отраженного мира.

С каждым днем ясенел взор Вираты, из мрака мало-помалу выступали предметы и раскрывали его осязанию свою форму. И душа его ясна в тихом покое: кроткая радость раздумья, питаемая памятью этой тенью тени, играла образами перевоплощения, как руки скованного узника — камешками, усыпавшими подземелье. Отрешенный от самого себя, зачарованный, не знающий в темноте собственного вида, он все сильнее чувствовал власть Тысячеликого Бога и видел себя проходящим среди теней, но не привязанным душою к ним, освобожденным от рабства воли, мертвым в жизни и живым в смерти. Всякий страх уничтожения растворился в тихой радости избавления от плоти. И чудилось ему, что с каждым часом он глубже погружается во мрак, туда, где камни и черные корни земли, и все же несет в себе зародыши новой жизни, как червь, роющийся в земле, или растение, устремляющееся своим стеблем ввысь, или, быть может, он только скала, покоящаяся в блаженном неведении бытия.

Восемнадцать дней упивался Вирата Божественной тайной самозабвенного созерцания, отрешенный от собственной воли и свободный от жажды жизни. Блаженством казалось ему то, что он свершил во имя искупления, и думы о прегрешениях и неумолимом роке лишь как смутные сонные грезы туманили вечное бдение познания. В девятнадцатую же ночь он внезапно пробудился от сна: земная мысль коснулась его. Раскаленной иглой впиалась она в его мозг. Ужас потряс его, и задрожали пальцы его рук, как листья на ветке. Что, если узник нарушит клятву и забудет его и он останется здесь на тысячу, и тысячу, и

тысячу дней, пока не сгниет заживо и язык его не окоченеет в молчании. Воля к жизни еще раз пантерой взвилась в нем и разорвала оболочку покоя: время хлынуло в его душу, и с ним страх, и надежда, и все смятение живого человека. Он больше не мог размышлять о Тысячеликом Боге вечной жизни, а лишь о себе; глаза его жаждали света, ноги его, тершиеся о твердый камень, требовали простора, тосковали по прыжку и бегу. Он не мог не думать о жене и сыновьях, о доме и о своем добре, о жарких соблазнах мира, который мы впиваем нашими чувствами и ощущаем горячей кровью сердца.

С этого дня время, доселе черной зеркальной гладью безмолвно лежавшее у его ног, затопило пробудившееся сознание. Стремительным потоком неслось оно, но не увлекало его в своем течении. Он хотел, чтобы оно подхватило его и умчало, как крутящийся древесный ствол, к желанному часу освобождения. Но время было против него: задыхаясь, словно измученный пловец, вырывал у него Вирата час за часом. Казалось, капли воды на стене медлят в своем падении, так долго тянулось время, отделявшее одну каплю от другой. Он больше не мог оставаться на своем ложе. От мысли, что юноша может забыть о нем и ему суждено сгнить здесь, в этом подземелье молчания, он метался, как безумный, по своей темнице. Тишина душила его: истошным криком изливал он камням свой гнев и отчаяние, проклинал себя и Богов, и царя. Окровавленными ногтями царапал он издевавшиеся над ним скалы и бился головой о дверь, пока не падал без чувств, чтобы, очнувшись, снова вскочить и, подобно бешеной крысе, носиться по каменному мешку.

За эти дни, от восемнадцатого дня созерцательной отрешенности до нового месяца, Вирата прошел через бездны ужаса. Еда и питье претили ему, ибо страх владел всем его существом. Ни одной мысли не мог он удержать в сознании, только губы его считали падавшие капли, которые дробили время, бесконечное время, на часы и дни. И, неведомо для него, волосы у него на висках поседели.

На тридцатый день сверху раздался шум и опять уступил место тишине. Потом прозвучали шаги, распахнулась дверь, ворвался свет, и перед погребенным во мраке предстал царь. С любовью обнял он Вирату и сказал:

— Я узнал о твоём подвиге, величайшем из когда-либо запечатленных в книгах отцов. Как звезда засияет он высоко над нашей низменной жизнью. Выйди же, дабы небесный огонь озарил тебя и счастливый народ мог лицезреть праведника.

Вирата прикрыл рукою глаза, ибо свет причинял ему боль, кровь горячей волной прилила к сердцу; шатаясь, как пьяный, поднялся он из темницы, и слугам пришлось поддерживать его. Но прежде чем выйти из ворот, он сказал:

— О царь, ты назвал меня праведником, я же знаю теперь, что всякий, кто вершит суд, творит беззаконие и отягощает себя виной. Еще томятся в этих подземельях люди, заточенные по моему слову, и лишь теперь постиг я их страдания и знаю: ничем не смеем мы ни за что воздавать. Отпусти и их, о царь, и отстрани народ с моего пути, ибо я стыжусь славословий.

Царь подал знак, и слуги оттеснили народ. Снова наступила вокруг них тишина. И сказал царь:

— На верхней ступени лестницы дворца моего сидел ты и творил суд. Ныне же, когда ты, познав страдание, стал мудрейшим из судей, живших на земле, ты воссядешь рядом со мной, дабы я внимал твоему слову и сам приобщился к твоему знанию.

Но Вирата коснулся его колена в знак просьбы.

— Освободи меня от моего сана. Я больше не могу быть праведным судьей, ибо я теперь знаю, что никто не может судить другого. Карать надлежит Богу, а не людям, и тот, кто посягает на волю судьбы, впадает в вину. Я же хочу прожить свою жизнь без вины.

— Так будь же не судьей, а моим советником, — отвечал царь, — и давай мне справедливые советы о войне и мире, налогах и оброках, дабы я не заблуждался в моих решениях.

И еще раз коснулся Вирата колена царя.

— Не облакай меня властью, о царь, ибо власть побуждает к деяниям, а какое деяние справедливо и не идет наперекор чьей-нибудь судьбе? Если я посоветую войну, я тем самым посею смерть, и каждое сказанное мною слово вырастет в деяние, а каждое деяние таит в себе смысл, которого я не знаю. Справедливым может быть лишь тот, кто не касается ничьей судьбы и ничьих дел, кто живет одиноким. Никогда, не был я ближе к познанию истины, чем тогда, когда был одинок и лишен человеческого слова, никогда я не был свободнее от вины, дозвожь же мне мирно жить в моем доме, не зная других обязанностей, кроме служения Богам, дабы я остался чистым от всякой вины.

— Жаль мне отпускать тебя,— сказал царь,— но кто смеет перечить мудрецу и противиться желанию праведника? Живи по своей воле, и пусть будет честью для моего царства, что в его пределах живет человек, свободный от вины.

Они вышли из ворот тюрьмы, и царь отпустил его. Одиноким шел Вирата и вдыхал сладостный, пронизанный солнцем воздух; с легким сердцем, свободный от всех обязанностей, возвращался он в свой дом. За ним послышалась легкая поступь босых ног, и, обернувшись, он увидел осужденного, чью муку он принял на себя. Юноша поцеловал следы его в пыли, робко поклонился и исчез. И впервые с того часа, как он увидел неподвижные глаза своего брата, Вирата улыбнулся и, радостный, вошел в дом.

Светлы были дни Вираты в его доме. Он пробуждался с молитвой благодарности за то, что глаза его встречают ясное небо вместо мрака, что вокруг него краски и ароматы благословенной земли и звонкая музыка утра. Каждый день снова, как великий дар, принимал он чудо своего дыхания и радость свободы движений, благоговение пробуждали в нем его собственное тело, нежное тело жены и сильные тела сыновей; во всем ощущал он присутствие Тысячеликого Бога, и душа его была окрылена тихой гордостью оттого, что он никогда не вторгся в чужую судьбу и никогда не посягал ни на одно из тысяч обликов Незримого Бога. С утра до вечера читал он книги мудрецов и посвящал свои дни благочестию — безмолвному созерцанию, любовному углублению в себя, делам милосердия и жертвенной молитве. Но радостен был его дух и кротка его речь, обращенная даже к ничтожнейшему из слуг, и домашние любили его как никогда. Он был другом бедных и утешителем несчастных. Молитва многих охраняла его сон, и люди не называли его больше Молнией Меча или Источником Справедливости, но Нивой Совета. Ибо не только ближайшие соседи приходили к нему за советом, но и чужие люди совершали странствие издалека, дабы он разрешил их споры, хотя он и не был больше судьей. И слову его подчинялись все. И Вирата был счастлив, чувствуя, что советовать лучше, чем приказывать, и мирить лучше, чем судить; его жизнь казалась ему без вины, с тех пор как он никого ни к чему не принуждал и все же направлял судьбу многих. И в веселии духа вкушал он полдень своей жизни.

Прошли три года, и еще раз три, как один светлый день. Все кротче становилась душа Вираты, и, когда к нему являлись спорщики, он недоумевал, откуда столько беспокойства на земле и как могут люди так злобно вырывать друг у друга жалкое достояние, когда им принадлежит вся необъятная жизнь и сладостное благоухание бытия. Он никому не завидовал, и никто не завидовал ему. Как остров мира возвышался его дом, осененный благостной жизнью, неприступной для стремлений человеческих страстей и для бурных потоков вождлений.

Однажды вечером, в конце шестого года его покоя, когда Вирата уже отошел ко сну, он вдруг услышал громкие вопли и звуки ударов. Он вскочил со своего ложа и увидел, как его сыновья, бросив одного из рабов на колени, хлестали его по спине бичом из бегемотовой кожи, так что брызгала кровь. Широко раскрытые от муки глаза истязуемого встретили его взор. И он вновь узнал запавший ему в душу взор некогда убитого им брата. Вирата поспешно подошел, остановил сыновей и спросил, что случилось.

Они отвечали, что раб, на обязанности которого лежало таскать в деревянных кадках воду из высеченного в скале колодца, уже неоднократно, ссылаясь на изнеможение от полуденного зноя, запаздывал и не раз был за это наказан, пока, наконец, не сбежал вчера,

после особенно сурового наказания. Сыновья Вираты верхом погнались за ним и настигли его уже в одном из селений за рекой; они привязали его веревкой к седлу коня и, то заставляя его бежать, то волоча по земле, истерзанного и израненного притащили домой. Здесь его подвергли еще более жестокой каре, в назидание ему и другим рабам (которые в трепете, с дрожащими коленями, глядели на поверженного), пока Вирата своим приходом не прервал истязание.

Вирата смотрел на раба. Песок у его ног был пропитан кровью. В глазах несчастного застыл ужас, как у животного, над которым занесен нож, и в расширенных неподвижных зрачках Вирата прочел отчаяние и мрак, некогда владевшие им.

— Отпустите его, — сказал он сыновьям, — его вина искуплена.

Раб поцеловал прах у ног Вираты. Впервые сыновья с досадой отошли от отца. Вирата вернулся в свои покои. Сам того не замечая, омыл он лоб и руки и при этом внезапно с испугом понял то, в чем не отдавал себе отчета: впервые за шесть лет он опять стал судьей и решил судьбу человека. И впервые за шесть лет сон опять бежал от него.

И когда он без сна лежал в темноте, перед ним возникли полные ужаса глаза раба (или то были глаза его убитого брата?) и гневные глаза сыновей, и он вновь и вновь спрашивал себя, справедливо ли поступили его сыновья с этим слугой. Из-за малой провинности кровь обагрила песок его дома, бич врезался в живое тело из-за ничтожного упущения, и эта вина жгла его сильнее тех ударов бича, что обжигали некогда его спину. Правда, наказание это постигло не свободного человека, а раба, чье тело с самого рождения принадлежало ему, Вирате, по закону царей. Но справедлив ли этот закон перед Тысячеликим Богом? Справедливо ли, чтобы тело человека было всецело подчинено чужой воле, чужому произволу, и неужели свободен от вины тот, кто отнимает у раба его жизнь или губит ее?

Вирата встал со своего ложа и зажег светильник, чтобы поискать ответ в книгах мудрецов. И нигде он не нашел различия между человеком и человеком, кроме деления людей на касты и сословия, нигде, во всем тысячеликом бытии, не нашел он закона, освобождающего от долга любви к человеку. Все с большей жадностью впивал он знание, ибо никогда душа его так не терзалась сомнением. Но еще раз ярко вспыхнуло пламя светильника и погасло.

И когда на Вирату пала тьма со стен, им овладело странное чувство: ему казалось, что не свою опочивальню он обводит ослепшим взором, а темницу, в которой он некогда с ужасом познал, что свобода есть глубочайшее право человека и что никто никого не смеет заточить ни на всю жизнь и ни на один год. Раба же этого, понял Вирата, он заточил в невидимый круг своей воли и приковал его своим прихотливым решением, не оставив ему свободным ни единого шага в его жизни. Вирата сидел не шевелясь, и прозрение снизошло на него, мысли ширились в груди, пока с неизреченной высоты не проник в него свет. Он понял, что и здесь не был свободен от вины, ибо подчинял людей своей воле и называл их рабами по преходящему закону человеческого, а не по извечному закону Тысячеликого Бога. И он простерся в молитве.

— Благодарю Тебя, Тысячеликий, за то, что Ты посылаешь мне вестников, во многих обличьях, дабы я не закоснел в неправде и все усерднее шел навстречу Тебе по незримому пути Твоей воли! Помоги мне постигать мою вину в обличающих глазах извечного брата, которого я вижу повсюду, который глядит и из моих глаз и чьей мукой я терзаюсь, дабы я чистым прошел по жизни и дыхание мое было свободно от вины.

И опять прояснилось чело Вираты. Со светлым взором вышел он под ночное небо, приемля белый привет звезд и глубоко вдыхая порывистый шум предрассветного ветра, садом спустился он к реке, и когда на востоке поднялось солнце, он погрузился в священные воды и вернулся к домашним, собравшимся для утренней молитвы.

Он вошел в их круг, приветствовал их доброй улыбкой, сделал знак женщинам, чтобы они удалились в свои покои, и обратился к сыновьям:

— Вам известно, что уже много лет на душе у меня одна-единственная забота: праведно, без вины прожить свою жизнь на земле; и вот вчера кровь обагрила порог моего дома, кровь живого человека, и я хочу смыть с себя эту кровь и искупить прегрешение, совершенное под сенью моего крова. Пусть раб, который за малую провинность понес слишком жестокое наказание, отныне будет свободен и идет куда хочет, дабы он не обвинил перед вечным судьей ни вас, ни меня.

Молча стояли сыновья, и Вирата чувствовал враждебность в их молчании.

— Безмолвием встречаете вы мои слова. Но я не хочу ничего решать, не выслушав вас.

— Провинившемуся ты хочешь подарить свободу, дать ему награду вместо наказания,— начал старший сын.— Много слуг в нашем доме, и один в счет не идет. Но каждый поступок влечет за собой другие, составляя с ними общую цепь. Отпуская этого раба, как ты удержишь других, принадлежащих тебе, если они пожелают уйти?

— Если они захотят уйти из моей жизни, я должен буду отпустить их. Ничью судьбу я не хочу держать в руках, ибо тот, кто кует судьбы, впадает в вину.

— Но ты нарушаешь законное право, — начал второй сын, — рабы эти принадлежат нам, как принадлежит нам земля, дерево этой земли и плод этого дерева. Служа тебе, они связаны с тобой, и ты связан с ними. Ты посягаешь на порядок, который существует тысячелетия. Раб не господин своей жизни, а слуга своего господина.

— Есть только одно право от Бога, и это право — жизнь; оно дается каждому с первым дыханием. К добру призвал Ты меня, ослепленного и мнившего себя свободным от вины; годами я владел чужими жизнями, теперь же я прозрел и знаю: праведный не должен обращать людей в скотов. Я всех хочу отпустить на волю и быть свободным от вины перед ними на земле.

Упорство было написано на лицах сыновей, и жестко ответил старший из них:

— Кто будет орошать поля, дабы не зачахли посевы риса, кто погонит буйволов в поле?

Должны мы сами стать слугами во имя твоей причуды? Ты сам никогда не утруждал рук своих и никогда не думал о том, что твоя жизнь зиждется на чужом труде. А ведь есть чужой пот и в плетеной циновке, на которой ты лежал, и твой сон охраняли опахала слуг. И вот ты хочешь всех прогнать, чтобы никто больше не грудился, кроме нас, твоей плоти и крови? Быть может, ты прикажешь нам выпрячь буйволов из плуга и самим тянуть постромки, дабы избавить животных от бича? Ведь и скотине Тысячеликий дал дыхание! Не касайся, отец, установленного, ибо и оно от Бога! Не добровольно разverzается земля, нужно применить силу, дабы она принесла плоды. Насилие есть закон подзвездного мира, и не можем мы отринуть его.

— Но я хочу отринуть его, ибо сила редко бывает права, я же хочу праведно прожить свою жизнь на земле.

— Без силы нельзя владеть ничем, ни человеком, ни скотом, ни безответной землей. Где ты хозяин, ты должен быть и господином; кто владеет, тот привязан к судьбе других людей.

— Но я хочу отрешиться от всего, что ввергает меня в вину. И я повелеваю вам отпустить рабов и самим трудиться для своего дома.

Гнев сверкнул во взорах сыновей, они едва подавили ропот. Потом старший молвил:

— Ты сказал, что не хочешь насиловать ничьей воли. Ты не хочешь повелевать твоими рабами, дабы не впасть в вину. Нам же ты приказываешь и вторгаешься в нашу жизнь. Где же здесь, спрашиваю я тебя, справедливость перед Богом и людьми?

Долго молчал Вирата. Когда же он поднял взор и увидел пламя алчности в их глазах, он содрогнулся в сердце своем. Потом тихо сказал:

— Вы правы. Я не хочу насиловать вашу волю. Возьмите дом мой и разделите его по своему желанию. Я не хочу больше владения и не хочу вины. Верно сказал ты: кто властвует, тот лишает свободы других, но прежде всего — свою же душу. Кто хочет жить

без вины, тот не должен иметь власти ни над своим домом, ни над чужой судьбой, не должен питаться чужим потом и кровью, не должен дорожить страстью женщины и сытой ленью. Только тот, кто живет один, живет для своего Бога, только деятельный знает Его, только бедняк обретает Его вполне. Я же хочу быть ближе к Незримому, чем к своей земле, и жить без вины. Берите дом и делите его в мире между собой.

Вирата повернулся и ушел. Дивясь, стояли сыновья; утоленная алчность сладостно пламенела в них, и все же они были пристыжены.

Вирата же заперся в своем покое и оставался глух к призывам и уговорам домашних. Только когда спустились ночные тени, он собрался в путь: взял посох, чашу для подаяния, топор для работы, горсть плодов для утоления голода и пальмовые листья с письменами мудрости — для благочестивой молитвы, подоткнул края одежды выше колен и молча покинул дом, ни разу не оглянувшись ни на жену, ни на детей, ни на все свое добро. Всю ночь шел он, пока не достиг реки, в которую однажды, в горький час пробуждения, бросил свой меч, перешел вброд на другой берег и направился вверх по течению, где не было и следов жилья и земля еще не знала плуга.

На заре он дошел до места у изгиба реки, где молния поразила старое манговое дерево и выжгла прогалину среди чащи. Тихо струилась река, и стая птиц кружила над мелкой водой, безбоязненно утоляя жажду. Светло было здесь, на открытом берегу, а позади высились тенистые деревья. Еще валялись кругом расщепленные молнией обломки ствола и ветки кустарника. Вирата оглядел уединенную прогалину в лесной глуши, и он решил построить здесь хижину и посвятить остаток дней своим созерцанию, вдали от людей и свободным от вины.

Пять дней сколачивал он хижину, ибо руки его были непривычны к работе. Но и после дни его были наполнены трудами: нужно было искать плоды для своего пропитания, вырубать заросли, со всех сторон буйно наступавшие на его хижину, возвести ограду из острых кольев вокруг нее, чтобы голодные тигры, оглашавшие ревом ночной мрак, не врывались в его жилье. Но ни один человеческий звук не проникал в жизнь Вираты и не смущал его душу; безмятежно, как вода в реке, текли его дни, питаемые неиссякающим источником.

Птицы же прилетали по-прежнему, тихий отшельник не пугал их, и вскоре они стали вить гнезда под кровлей его хижины. Он рассыпал для них семена больших цветов и разбрасывал плоды. Они смело подсакивали совсем близко к нему и уже не боялись его рук, слетали с пальм, когда он их манил, он играл с ними, и они доверчиво позволяли трогать себя. Однажды он нашел в лесу молодую обезьяну: она сломала себе руку и по-детски всхлипывала, лежа на земле. Он взял её к себе, вырастил, и понятливое животное, подражая ему, выучилось оказывать услуги. И так он был окружен мирными живыми созданиями, и все же он знал, что и в животных таится насилие и зло, как в человеке. Он видел, как крокодилы яростно кусали и преследовали друг друга, как птицы острым клювом выхватывали из воды рыб и как змеи, в свою очередь, внезапно сжимали своими кольцами тех же птиц. Вся чудовищная цепь уничтожения, которой жестокая Богиня захлестнула весь мир, предстала перед ним как непреложный закон, и мудрость не могла опровергнуть его. Но Вирате отраднее было оставаться лишь созерцателем этих битв, свободным от вины и непричастным к круговороту побед и поражений.

Год и еще полгода не видал Вирата ни одного человека. Но однажды охотник, преследуя на другом берегу слона до места водопоя, увидел необычайную картину. Перед маленькой хижинкой сидел, озаренный желтым вечерним светом, белобородый старец, птицы мирно ютились в его волосах, обезьяна звонкими ударами раскалывала орехи у его ног. Он же смотрел на верхушки пальм, где качались синие и пестрые попугаи, и когда он поднял руку, они искрометным облаком слетели вниз и опустились ему на колени. И

подумал охотник, что он видит святого, о коем было возвещено, что «звери будут говорить с ним голосом человеческим, и цветы вырастать под его стопами; звезды будет срывать он устами своими и двигать месяц по небу одним дыханием своим». И охотник забыл про охоту и поспешил домой поведать о виденном.

Уже на другой день стали стекаться любопытные, чтобы с того берега подивиться на чудо. Все увеличивалось их число, пока, наконец, один из них не узнал Вирату, покинувшего свою родину, бросившего дом и имущество во имя великой справедливости. Все дальше летела весть и, наконец, достигла царя, скорбевшего об утраченном верном слуге, и он велел снарядить ладью с четырёхжды семью гребцами. Без усталости гребли они, пока ладья не поднялась против течения до того места, где стояла хижина Вираты. Тогда они постлали ковры под ноги царю, и он направился к мудрецу. Но уже год и шесть месяцев не слышал Вирата голоса человеческого; робко и нерешительно поднялся он навстречу гостям, забыл о поклоне слуги перед властелином и только сказал:

— Да будет благословен приход твой, о царь!

Царь обнял его.

— Много лет уже я вижу, как ты идешь по пути к совершенству. И я хочу узреть, как живет праведник, дабы поучиться у него.

Вирата поклонился.

— Ничего мне не ведомо, кроме того, что я разучился жить с людьми, желая быть свободным от всякой вины. Только самого себя может поучать одинокий. Я не знаю, мудро ли то, что я творю, не знаю, счастье ли то, что я чувствую, — ничего не могу я советовать и ничему не могу учить. Мудрость одинокого отлична от мудрости мирской, и закон созерцания отличен от закона деяний.

— Но видеть, как живет праведный, — это уже значит учиться, — отвечал царь. — С тех пор как я встретил твой взор, я преисполнился светлой радости. Большого я не требую. Вирата вновь склонился перед царем. И вновь обнял его царь.

— Могу ли я сделать что-нибудь для тебя или передать весть твоей семье?

— Ничего нет больше моего на земле, о царь, или же все мое. Я забыл, что некогда и у меня были дом среди других домов и дети среди других детей. Безродному принадлежит вся земля, отшельнику - вся полнота жизни, безвинному - мир и покой. У меня нет другого желания, как жить без вины на земле.

— Прощай же и помни обо мне в благочестии своем.

— Я помню о Боге и тем самым помню и о тебе и обо всех на земле живущих, ибо они часть Его и дыхание Его.

Вирата пал ниц. Царская ладья тронулась вниз по реке, и много месяцев отшельник не слышал человеческого голоса.

Еще раз взмахнула крылами слава Вираты и белым соколом облетела страну. В самые отдаленные селения и хижины на морском берегу дошла весть о том, кто покинул дом свой и добро свое ради жизни благочестивой, и люди прозвали праведника четвертым именем добродетели — Звездой Одиночества. Жрецы восхваляли его самоотречение в храмах, а царь — перед своими слугами. И когда судья изрекал приговор, он всегда присовокуплял: «Да будет слово мое справедливо, как справедливо было слово Вираты, который живет теперь только для Бога и достиг высшей мудрости».

И бывало так — год от года все чаще, — что кто-нибудь, поняв неправду своих деяний и суетность своей жизни, покидал дом и родину, раздавал свое имущество и уходил в лес, чтобы, подобно тому праведнику, сколотить себе хижину и жить только для Бога. Ибо пример есть сильнейшая связь на земле между людьми, каждое деяние пробуждает волю в других, и, стряхнув с себя дремоту, человек деятельно наполняет часы дней своих. И те, что очнулись, поняли пустоту своей жизни, увидели кровь на своих руках и вину в своих

душах; они снимались с места и уходили в лес, подобно Вирате, сколачивали себе хижину и отныне, заботясь лишь о насущнейших нуждах своего тела, предавались беспредельному благочестию. Когда они, собирая плоды, встречались на лесных тропах, они не произносили ни слова, дабы не связывать себя новыми узами, но глаза их радостно улыбались, и в душах своих они несли друг другу мир. Народ же называл тот лес Урочищем Благочестивых, и ни один охотник не углублялся в его дебри, страшась осквернить убийством святость этого места.

И вот однажды Вирата, блуждая утром по лесу, увидел отшельника, неподвижно простертого на земле, и когда склонился над ним, чтобы его поднять, то заметил, что жизнь покинула его. Вирата закрыл мертвому глаза, прочитал молитву и попытался вынести брэнную оболочку покойного из чащи: он хотел сложить костер, дабы тело этого брата чистым могло вступить на путь перевоплощения. Но тяжесть была чрезмерна для его рук, ослабевших от скудного питания плодами, и он пошел вброд на тот берег, в ближнее селение, просить о помощи.

Когда жители селения увидели праведника, которого они называли Звездой Одиночества, они подошли к нему и, почтительно выслушав его волю, тотчас отправились рубить деревья для предания мертвого погребению. И где проходил Вирата, женщины падали ниц, дети останавливались, изумленно глядя вслед шествующему в молчании, и многие мужчины выходили из своих домов поцеловать край одежды высокого гостя и принять благословение святого. С улыбкой проходил Вирата сквозь эту волну человеческого благоволения и чувствовал, как сильно и чисто он снова может любить людей с тех пор, как больше не связан с ними.

Когда же он проходил мимо последнего, низенького дома селения, все так же ласково отвечая на приветствия встречных, он вдруг увидел устремленные на него полные ненависти глаза женщины; Вирата содрогнулся — ему показалось, будто он снова видит давно забытые глаза убитого им брата. Он в ужасе отпрянул — так отвыкла его душа от вражды и злобы за годы уединения. Он пытался уверить себя, что это лишь обман зрения. Но черный неподвижный взор по-прежнему был устремлен на него. И когда, овладев собой, Вирата шагнул вперед, чтобы приблизиться к двери, женщина отступила в глубину дома, и из темноты по-прежнему сверкал обращенный на него горящий взор, словно глаза тигрицы в неподвижной чаше.

Вирата старался ободрить себя. «Как могу я быть столь виновен перед той, которой никогда не видел, что она с такой ненавистью смотрит на меня? — говорил он себе. — Это, наверно, ошибка, нужно разъяснить ее». Спокойно подошел он к дому и постучал в дверь. Лишь гулкий отзвук ответил ему, и все же он чувствовал враждебную близость чужой женщины. Терпеливо продолжал он стучать, ждал и стучал опять, словно нищий. Наконец она вышла нехотя, устремив на него мрачный и ненавидящий взор. — Что тебе еще надо от меня? — яростно напустилась она на него.

И он увидел, что она должна была ухватиться за косяк, так потрясал ее гнев.

Вирата же смотрел ей прямо в лицо, и легко стало у него на сердце, ибо он убедился, что никогда доселе не видел ее. Она была молода, а он уже много лет как сошел с людских путей; ни разу не могли скреститься их дороги, и никогда не мог он причинить ей вред.

— Я хотел приветствовать тебя словами мира, женщина, — отвечал Вирата, — и спросить, почему ты смотришь на меня с гневом? Что я сделал тебе? Разве я причинил тебе зло?

— Что ты мне сделал? — злобная усмешка скривила ее губы. — Что ты мне сделал? Малость только, самую малость: мой дом был полной чашей, ты опустошил его. Ты похитил у меня самое дорогое и убил мою жизнь. Уйди, чтобы я не видела больше твоего лица, не то я не сдержу своего гнева.

Вирата в удивлении смотрел на нее. Ее глаза так дико блуждали, что он подумал, уж не безумная ли перед ним. Он повернулся, готовясь уйти, и сказал только: — Я не тот, за

кого ты меня принимаешь. Я живу вдали от людей и не виновен ни в чьей судьбе. Твои глаза обманывают тебя.

Но она с ненавистью крикнула ему вслед:

— Нет, я узнала тебя, кого все знают. Ты Вирата, тебя называют Звездой Одиночества, тебя прославляют четырьмя именами добродетели. Но я не стану тебя прославлять, мой язык не устанет обличать тебя, пока меня не услышит Высший Судия всех живущих. Войди же, если ты хочешь увидеть, что ты мне сделал.

И она увлекла изумленного Вирату за собой в дом и распахнула дверь в низкую и темную комнату, где в углу что-то неподвижно лежало на циновке. Вирата нагнулся над циновкой и в ужасе отпрянул: перед ним лежал мертвый мальчик, и неподвижные глаза с укором были устремлены на него, как некогда глаза убитого брата. Женщина стояла рядом и, сотрясаясь от рыданий, кричала:

— Это мой третий, последнее дитя моего лона, и его ты умертвил, ты, которого называют святым и слугой Богов!

Вирата хотел задать вопрос, отвести от себя обвинение, но она повлекла его дальше.

— Посмотри на этот пустой ткацкий станок! Здесь стоял Паратика, мой муж, изо дня в день и ткал белый холст. Не было в стране ткача искуснее его. Издалека приносили ему работу, и работа приносила нам жизнь. Светлы были наши дни, ибо Паратика был добр и трудолюбие его не имело границ. Он не знался с нечестивыми и избегал праздной суеты улицы. Трех сыновей подарила я ему, и мы растили их, дабы из них вышли люди, подобные их отцу, добрые и честные. И вот однажды пришел охотник — о, если бы он никогда не являлся сюда! — и поведал, что есть в стране человек, который оставил свой дом и имущество свое, чтобы при жизни приблизиться к Богу, и построил себе жилище своими руками. С того дня омрачился дух Паратики, он подолгу думал вечерами и не говорил ни слова. И однажды, проснувшись среди ночи, я не увидела его подле себя. Он ушел в лес, который называют Урочищем Благочестивых и где ты пребывал, ушел, чтобы помнить о Боге. Но, помня о Боге, Паратика забыл о нас и забыл, что мы жили его трудом. Нищета вошла в наш дом, детям не хватало хлеба, они умирали один за другим, а сегодня и этот, последний, умер из-за тебя. Ибо это ты соблазнил Паратику. Ради того, чтобы ты приобщился к истине и к Богу, трое детей, рожденных мною, ушли из жизни. Чем искупишь ты это, если я призову тебя к ответу перед Судией живых и мертвых? Чем искупишь ты предсмертные муки их маленьких тел, корчившихся от боли в то время, как ты бросал крошки птицам и был далек от всякого страдания? Как искупишь ты то, что соблазнил честного труженика оставить работу, кормившую его и невинных детей, внушив ему безумную мысль, что в одиночестве он будет ближе к Богу, чем среди живой жизни?

Бледный, с дрожащими губами, слушал ее Вирата.

— Не ведал я того, что служу соблазном для других. Я мнил: жизнь моя замыкается мною.

— Где же твоя мудрость, мудрец, если ты не знаешь того, что знают даже отроки: что все дела наши от Бога и что никому не уйти от них и от закона вины? Гордыня обуяла тебя, ты возомнил себя господином, господином своих деяний и наставником людей. Что было сладостно тебе, стало для меня горечью, а твоя жизнь — смертью этого ребенка.

Вирата задумался, потом склонил голову и сказал:

— Правду говоришь ты, и я вижу, что всякая боль приносит больше познания истины, чем все тихие раздумья мудрецов. Все, что я знаю, я узнал от несчастных, и все, что я видел, я увидел во взоре страдальцев, во взоре извечного брата. Не смиренным я был пред лицом Бога, а гордецом: я познал это через твою горе, которым сейчас терзаюсь сам. Прости меня, ибо я каюсь перед тобою: я причинил зло тебе и еще многим, о ком не ведаю. И бездействующий совершает деяния, за которые он несет вину на земле, и одинокий живет во всех своих братьях. Прости же меня, женщина! Я возвращусь из леса, дабы вернуться и Паратика и зачал новую жизнь в твоём лоне взамен погубленной.

Он низко склонился и прикоснулся губами к краю ее одежды. И тогда гнев оставил ее; пораженная, смотрела она вслед уходившему Вирате.

Еще одну ночь провел Вирата в своей хижине, глядя на звезды, белым сверканием пронзавшие глубины неба и угасшие поутру, еще раз созвал он птиц, покормил и приласкал их. Потом взял посох и чашу, как в тот день, много лет назад, когда он пришел сюда, и возвратился в город.

Лишь только разнеслась весть о том, что святой покинул свою уединенную обитель и опять пребывает в стенах города, народ стал стекаться со всех сторон, радуясь редкому гостю, но были и такие, кто питал тайное опасение, как бы возврат его от Бога не предвещал бедствия. Среди общего преклонения шел Вирата и пытался приветствовать людей своей обычной доброй улыбкой, но впервые он не мог улыбаться, и взор его оставался суровым и уста замкнутыми.

Так достиг он царского дворца. Час совета уже миновал, и царь был один. Вирата приблизился к нему, и тот встал, чтобы заключить его в объятия. Но Вирата простерся пред царем и прикоснулся к краю его одежды в знак просьбы.

— Твоя просьба будет исполнена, — сказал царь, — прежде чем она станет словом на твоих устах. Великая честь выпала мне, что я имею власть послужить благочестивому и оказать помощь мудрому.

— Не зови меня мудрым, — отвечал Вирата, — ибо я шел неверным путем. Замкнулся круг, и я опять просителем стою у твоего порога, где некогда просил тебя уволить меня от должности судьи. Я хотел быть свободным от вины и бежал от всякого деяния, но и меня опутали сети, которые Боги расставили смертным.

— Не верю я твоим словам, — сказал царь. — Как мог причинить людям зло ты, избегавший их? Как мог впасть в вину ты, живший в Боге?

— Не по умыслу совершал я зло. Я бежал вины, но стопы наши прикованы к земле, а дела — к законам вечных Богов. И бездействие есть деяние, и я не мог сокрыться от глаз извечного брата, которому мы всегда против нашей воли приносим добро или зло. Но семикратно виновен я, бежавший от Бога и отказывавший жизни в служении.

Беспольным был я, ибо питал только свою жизнь и никому не служил. Ныне я вновь хочу послужить.

— Удивительна мне речь твоя, Вирата, я не понимаю тебя. Выскажи мне свое желание, дабы я мог исполнить его.

— Я больше не хочу быть свободным в своей воле. Ибо свободный не свободен, и бездеятельный не без вины. Свободен лишь тот, кто служит делу, кто отдает другому свою волю и свою силу, отдает, ни о чем не спрашивая. Только середина деяния принадлежит нам, его начало и конец, его причина и следствие — в руках Богов. Освободи меня от моей воли, ибо всякое желание есть смятение духа, а всякое служение — мудрость. И я возблагодарю тебя, о царь.

— Я тебя не понимаю. Ты просишь освободить тебя и в то же время домогаешься службы. Что же — свободен лишь тот, кто служит другому, а не тот, кто приказывает ему? Я этого не понимаю.

— Хорошо, о царь, что ты не понимаешь этого в сердце своем. Как мог бы ты оставаться царем и повелевать, если бы ты это понял?

Лицо царя потемнело от гнева.

— Так ты думаешь, что повелитель ничтожнее перед Богом, нежели слуга?

— Нет ничтожных и нет великих перед Богом. Но тот, кто служит и отдает свою волю, ни о чем не спрашивая, снимает с себя вину и возвращает ее Богу. А тот, кто поступает по своей воле и мнит мудростью избегнуть зла, впадает в искушение и вину.

Лицо царя оставалось мрачным.

— Так и все заслуги равны? И нет больших и меньших перед Богом и людьми?

— Быть может, иные и кажутся людям больше других, о царь, но всякое служение равно перед Богом.

Царь долго и гневно смотрел на Вирату. Уязвленная гордость растревляла душу. Но когда он увидел его изможденное лицо и белые волосы над морщинистым челом, он подумал, что старик преждевременно впал в детство. И чтобы испытать его, царь насмешливо спросил:

— Хотел бы ты стать псарем при моем дворце?

Вирата пал ниц и поцеловал подножие престола в знак благодарности.

С того дня старец, которого страна некогда прославляла четырьмя именами добродетели, стал псарем, и жил он с другими слугами в дворцовых подвалах. Сыновья стыдились его и трусливо обходили дворец, чтобы не увидеть его и не быть вынужденными признать свое родство перед людьми, жрецы отворачивались от недостойного. Только народ еще приходил подивиться на старца, который некогда был первым в государстве, а теперь водил по двору свору собак. Но он никого не замечал, и вскоре люди перестали приходить и больше не думали о нем.

Вирата ревностно исполнял свои обязанности от утренней до вечерней зари. Он обмывал собакам морды и выскребал струпья из шерсти, приносил им корм, менял подстилки и убирал нечистоты. Собаки любили его больше, чем всех других обитателей дворца, и это радовало Вирату. Его дряхлые, морщинистые уста, редко обращавшиеся с речью к людям, всегда улыбались им. И мирно текли долгие безмятежные годы его старости. Царь скончался раньше его, пришел новый царь, который не замечал Вираты и только однажды ударил его палкой за то, что собака заворчала, когда царь проходил мимо. И все мало-помалу забыли о существовании Вираты.

Когда же и для него исполнилась мера его лет и он умер, и был зарыт на свалке, где хоронили всех слуг, в народе уже никто не помнил о том, кого страна когда-то прославляла четырьмя именами добродетели. Сыновья его попрятались, и ни один жрец не пел погребальных песен над его прахом. Лишь собаки выли два дня и две ночи, потом они забыли Вирату, чье имя не вписано в летописи властителей и не начертано в книгах мудрецов.